

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

БК

Эмиль Золя

РАЗГРОМ
ДОКТОР
ПАСКАЛЬ

«АЗБУКА»



Иностранная литература. Большие книги

Эмиль Золя

Разгром. Доктор Паскаль

«Азбука»

1892, 1893

УДК 821.133.1
ББК 84(4Фра)-44

Золя Э.

Разгром. Доктор Паскаль / Э. Золя — «Азбука», 1892,
1893 — (Иностранная литература. Большие книги)

ISBN 978-5-389-32311-7

Эмиль Золя – один из столпов мировой реалистической литературы, основоположник и теоретик натурализма, увлеченный исследователь повседневности, страстный правозащитник и публицист, повлиявший на все реалистическое направление литературы XX века. Его самый известный труд – эпохальный двадцатитомный цикл «Ругон-Маккары», раскрывающий перед читателем бесконечную панораму человеческих пороков и добродетелей в декорациях Второй империи. Это подлинная энциклопедия жизни Парижа и французской провинции на примере нескольких поколений одной семьи, родившей самые странные плоды. В настоящее иллюстрированное издание вошли романы «Разгром» (1892) и «Доктор Паскаль» (1893), занимающие, согласно предписанному автором порядку чтения, девятнадцатое и двадцатое места и завершающие цикл «Ругон-Маккары». Жан Маккар, уже известный читателям по роману «Земля», разочаровавшись в сельской жизни, возвращается в армию, где беспомощно наблюдает за крахом Империи и разгромом ее армий. Драматичные события периода Парижской коммуны переворачивают жизнь Жана, однако падение Империи, этого колосса на глиняных ногах, дарит надежду на новое начало. Действие романа «Доктор Паскаль» происходит в начале 1870-х годов, после падения Второй империи, исторического фона, на котором разворачивается действие цикла. Исследования доктора Паскаля Ругона, ведущего тихую жизнь ученого в Плассане и изучающего наследственность своего рода, подводят итог грандиозной летописи рода Ругон-Маккаров, над созданием которой Эмиль Золя трудился более двадцати лет.

УДК 821.133.1

ББК 84(4Фра)-44

ISBN 978-5-389-32311-7

© Золя Э., 1892, 1893

© Азбука, 1892, 1893

Содержание

О порядке чтения цикла «Ругон-Маккары»	8
Разгром	9
Часть первая	9
I	9
II	18
III	31
IV	41
V	53
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Эмиль Золя
Разгром. Доктор Паскаль

Émile Zola

LA DÉBÂCLE. LE DOCTEUR PASCAL

© Е. И. Яхнина (наследник), перевод, 1965

© Издание на русском языке, оформление

ООО «Издательство АЗБУКА», 2026

Издательство Азбука®

* * *

**ИНОСТРАННАЯ
ЛИТЕРАТУРА**



Эмиль Золя

РАЗГРОМ
♦
ДОКТОР ПАСКАЛЬ



Санкт-Петербург

О порядке чтения цикла «Ругон-Маккары»

Работа над романами цикла «Ругон-Маккары» заняла у Эмиля Золя больше двадцати лет и не происходила линейно: за вычетом хронологически первого и последнего романов, созданных соответственно первым и последним, порядок появления частей цикла не всегда соответствовал хронологии описываемых событий. Традиционно цикл издается в порядке написания, однако в этом и дальнейших изданиях мы предпочли руководствоваться его внутренней хронологией. Такой порядок чтения сам автор описывает в финальном романе цикла «Доктор Паскаль» и, по утверждению Эрнеста Альфреда Визетелли, английского переводчика и друга Золя (см. критическую биографию *Émile Zola, Novelist and Reformer: An Account of His Life and Work* by Ernest Alfred Vizetelly, 1904, гл. XI), неоднократно рекомендовал на словах.

Карьера Ругонов (*La Fortune des Rougon*, 1871)
Его превосходительство Эжен Ругон (*Son Excellence Eugène Rougon*, 1876)
Добыча (*La Curée*, 1871–1872)
Деньги (*L'Argent*, 1891)
Мечта (*Le Rêve*, 1888)
Покорение Плассана (*La Conquête de Plassans*, 1874)
Пена (*Pot-Bouille*, 1882)
Дамское Счастье (*Au Bonheur des Dames*, 1883)
Проступок аббата Муре (*La Faute de l'abbé Mouret*, 1875)
Страница любви (*Une page d'amour*, 1878)
Чрево Парижа (*Le Ventre de Paris*, 1873)
Радость жизни (*La Joie de vivre*, 1884)
Западня (*L'Assommoir*, 1877)
Творчество (*L'Œuvre*, 1886)
Человек-зверь (*La Bête humaine*, 1890)
Жерминаль (*Germinal*, 1885)
Нана (*Nana*, 1880)
Земля (*La Terre*, 1887)
Разгром (*La Débâcle*, 1892)
Доктор Паскаль (*Le Docteur Pascal*, 1893)

Разгром

Часть первая

I

В двух километрах от Мюлуза, близ Рейна, среди плодородной равнины, расположился лагерь. На склоне августовского дня, под мутным закатным небом, омраченным тяжелыми тучами, белели ряды походных палаток, на первой линии сверкали на равном расстоянии друг от друга пирамиды ружей и неподвижно стояли часовые, вперяя взгляд в лиловатый туман, который поднимался над рекой.

Из Бельфора войска пришли часам к пяти. И только в восемь солдаты должны были получить довольствие. Но топливо, наверно, задержалось в дороге, и раздача не состоялась. Нельзя было разжечь огонь и приготовить суп. Пришлось грызть одни сухари, щедро поливая их водкой, а от этого ноги, и так ослабевшие от усталости, совсем подкашивались. Два солдата, за пирамидами ружей, у походной кухни, все-таки пытались разжечь охапку свежих сучьев, срезанных штыками, но сучья упорно не загорались. Густой черный дым медленно поднимался в вечернее, безмерно скорбное небо.

Здесь было только двенадцать тысяч человек, это все, что осталось у генерала Феликса Дуэ от 7-го армейского корпуса. Вызванная накануне 1-я дивизия отправилась во Фрешвиллер, 3-я еще находилась в Лионе; и генерал решил покинуть Бельфор, двинуться вперед со 2-й дивизией, резервной артиллерией и неполной кавалерийской дивизией. В Лоррахе были замечены огни. Депеша шельштадтского субпрефекта извещала, что пруссаки готовятся перейти Рейн в Маркольсгейме. Генерал чувствовал, что его левый фланг слишком удален от других корпусов и потерял с ними связь; он ускорил передвижение к границе, тем более что накануне пришло известие о неожиданном поражении под Виссенбургом. Если генералу и не приходилось самому сдерживать неприятеля, он с часу на час мог ждать приказа идти на подмогу 1-му корпусу. В тот грозовой день, в субботу, 6 августа, наверно, произошло сражение где-нибудь близ Фрешвиллера: это чувствовалось в тревожном, нависшем небе; в воздухе проносился трепет, внезапно поднимался ветер, таивший смятение. И уже два дня дивизия, казалось, шла навстречу неприятелю; солдаты ждали, что вот-вот закончится форсированный марш из Бельфора в Мюлуз и покажутся пруссаки.

Солнце заходило; из отдаленного конца лагеря раздался слабый, подхваченный ветром звук рожков, треск барабанов: это заиграли зорю. Бросив вбивать колья и укреплять палатку, Жан Маккар встал.

При первом известии о войне он оставил Ронь, еще не оправившись от горя: он потерял жену Франсуазу и ее приданое – землю. Жану было тридцать девять лет; он вернулся добровольцем в армию в прежнем чине капрала и немедленно был зачислен в 106-й линейный полк, ряды которого пополнялись; иногда Жан сам удивлялся, что опять надел военную шинель: ведь после битвы под Сольферино он так был рад освободиться от службы, не волочить больше саблю, не убивать людей. Но что делать! Нет ремесла, нет ни жены, ни добра, сердце сжимается от печали и гнева! Что ж! Остается бить врагов, если они не дают покоя. И он помнил, как воскликнул: «Эх, черт подери! Раз не хватает больше духу обрабатывать старую французскую землю, по крайней мере буду ее оборонять!»

Жан оглядел лагерь: там в последний раз, под звуки зори, все пришло в движение. Мимо него пробежало несколько человек. Те, кто было задремал, теперь приподнимались, потягива-

лись устало и раздраженно. А Жан терпеливо ждал переключки, как всегда спокойный, рассудительный и уравновешенный. Благодаря этим качествам он и был превосходным солдатом. Товарищи говорили, что если бы он получил образование, то, наверно, пошел бы далеко. А он умел только читать и писать и не добивался даже чина сержанта. Родился крестьянином, крестьянином и умрешь.

Увидя, как все еще дымятся зеленые сучья, Жан подошел и крикнул Лапулю и Лубе, солдатам из его отделения, которые упорно пытались развести огонь:

– Да бросьте вы! Дышать нечем!

Худощавый и подвижной Лубе насмешливо захихикал в ответ:

– Разгорается, капрал, право, разгорается... Подуй-ка еще, Лапуль!

И он подтолкнул великана Лапуля, а Лапуль изо всех сил старался вызвать бурю, надувая щеки, как мехи; его лицо налилось кровью, глаза стали красными и слезились.

Другой солдат из того же отделения, Шуто, бездельник, любивший удобства, лежал на спине, а Паш тщательно зашивал дырку на штанах; увидя чудовищную гримасу громадного Лапуля, они весело расхохотались.

– Да ты повернись! Подуй с другой стороны! Лучше выйдет! – крикнул Шуто.

Жан дал им посмеяться. Может быть, еще не скоро выпадет такой случай; этот плотный, серьезный парень, с благообразным, спокойным лицом, не любил унывать и охотно закрывал глаза, когда солдаты развлекались. Но он обратил внимание на другое: солдат из его же отделения, Морис Левассер, вот уже около часа беседует с каким-то штатским – рыжим господином лет тридцати шести, похожим на доброго пса, с голубыми глазами навывате; по близорукости он был освобожден от военной службы. К ним подошел артиллерист, фейерверкер, brave, самоуверенный, с черными усами и бородкой; все трое не обращали ни на кого внимания и чувствовали себя как дома.

Жан решил любезно вмешаться в разговор, чтобы избавить их от выговора:

– Вы бы лучше ушли, сударь! Вот уже играют зорю. Если вас увидит лейтенант...

Морис его перебил:

– Нет, оставайтесь, Вейс!

И сухо ответил капралу:

– Это мой шурин. У него разрешение от полковника; он с ним знаком.

Чего он лезет не в свое дело, этот мужик, у которого руки еще пахнут навозом? Левассер был принят осенью в корпорацию адвокатов, пошел добровольцем в армию и зачислен в 106-й полк не через призывной пункт, а благодаря покровительству полковника; он готов тянуть солдатскую лямку, но с первого же дня службы в нем поднялось отвращение, глухой протест против этого деревенщины, безграмотного парня, который им командовал.

– Ладно, – спокойно ответил Жан, – пусть вас застукают, мне-то что!

Он отвернулся, заметив, что Морис не врет; в эту минуту появился полковник де Винейль; у него была благородная, величественная осанка, удлиненное желтое лицо и густые седые усы; увидев Вейса и солдата, он улыбнулся. Полковник быстро шел к ферме, расположенной справа, в двухстах – трехстах шагах, среди плодовых деревьев: там на ночь разместился штаб. Неизвестно, был ли там командир 7-го корпуса; он понес тяжелую утрату: под Виссенбургом был убит его брат. Но в штабе, безусловно, находился бригадный генерал Бурген-Дефейль, которому был подчинен 106-й полк, крикливый краснорожий толстяк, коротышка, прожигатель жизни, очень неумный, что, впрочем, ему нисколько не мешало. Вокруг фермы люди суетились еще больше: каждую минуту уходили и приходили вестовые, штаб жил лихорадочным ожиданием запаздывающих известий о большом сражении; с утра все чувствовали, что оно действительно произошло, и где-то поблизости. Но где? И каковы его последствия? Приблизилась ночь, и, казалось, вместе с темнотой росла тревога, охватывая сад и стога, стоявшие вокруг хлебов. Да еще говорили, будто поймали прусского шпиона, который бродил вокруг

лагеря, и повели на допрос к генералу. Может быть, полковник де Винейль получил какую-нибудь телеграмму – он побежал в штаб так быстро.

Между тем Морис опять заговорил с шурином Вейсом и с двоюродным братом – унтером Оноре Фушаром. Барабанный бой донесся сначала издали, мало-помалу загрохотал, приближаясь, прогремел рядом, в скорбной тишине вечера, а они как будто и не слышали.

Внук героя великой наполеоновской армии, Морис родился в Шен-Попюле; его отец был незаметный человек и дошел до скромной должности сборщика податей. Мать, крестьянка, умерла, произведя на свет близнецов – Мориса и его сестру Генриетту. Сестра и воспитала его, хотя была еще совсем девочкой. Он пошел на войну добровольцем, после того как совершил немало ошибок по легкомыслию, слабохарактерности и возбудимости, промотав деньги на игру, на женщин, на забавы во всепожирающем Париже, куда он приехал кончать юридический факультет, пока его семья выбивалась из сил, чтобы сделать из него барина. Отец с горя умер, сестра отдала Морису свои последние деньги, но, к счастью, вышла замуж за честного человека, эльзасца из Мюлуза, – Вейса, который долго был счетоводом на сахарном заводе в Шен-Попюле, а теперь служил старшим мастером у Делагерша, одного из крупнейших фабрикантов сукна в Седане. Морис считал, что вполне исправился: по своей неуравновешенности он быстро переходил от надежды к отчаянию; великодушный, восторженный, он не мог остановиться ни на чем, покоряясь любому порыву. Это был белокурый, небольшого роста человек, с высоким лбом, маленьким носом и подбородком, с тонкими чертами лица; у него были серые, кроткие, иногда вспыхивающие безумным огнем глаза.

Вейс поспешил в Мюлуз накануне начала военных действий с намерением уладить одно семейное дело; для встречи с шурином он воспользовался любезностью полковника де Винейля, потому что полковник приходился дядей молоденькой жене Делагерша, красивой вдове, которая вышла за фабриканта год тому назад и с детских лет была знакома Морису и Генриетте, живя по соседству с ними. К тому же, кроме полковника, Морис встретил здесь в лице своего ротного командира, капитана Бодуэна, знакомого Жильберты, молодой госпожи Делагерш, по слухам ее близкого друга в те годы, когда она была замужем за старшим лесничим Мажино в Мезьере.

– Крепко поцелуйте за меня Генриетту! – повторял, обращаясь к Вейсу, Морис, страстно любивший сестру. – Скажите ей, что она будет довольна мной, я хочу, чтобы она могла мной гордиться.

При воспоминании о былых безумствах у него показались на глазах слезы. Вейс, тоже взволнованный, перебил его, обратившись к артиллеристу Оноре Фушару:

– Как только приеду в Ремильи, зайду к вашему отцу и скажу, что видел вас и что вы здоровы.

Отец Фушара, крестьянин, владелец небольших участков земли и торговец мясом, был братом матери Генриетты и Мориса. Он жил в Ремильи, на холме, в шести километрах от Седана.

– Ладно! – спокойно ответил Оноре Фушар. – Отцу на меня наплевать, ну да все равно, зайдите к нему, если это доставит вам удовольствие.

В эту минуту у фермы произошло движение: оттуда свободно вышел, под конвоем только одного офицера, бродяга, заподозренный в шпионаже. Наверно, он показал свои документы, рассказал какую-нибудь басню, и его просто решили выгнать из лагеря. На таком расстоянии, да еще в сумерках, трудно было разглядеть этого огромного, плечистого, рыжевато-голубого детину.

Но Морис воскликнул:

– Оноре! Погляди-ка!.. Да это как будто пруссак, помнишь? Голиаф!

Услышав это имя, артиллерист вздрогнул. У него сверкнули глаза: Голиаф Штейнберг, батрак с фермы, человек, поссоривший его с отцом, отнявший у него Сильвину! Вспомнилась вся эта мерзкая история, вся гнусность и подлость, от которой он до сих пор страдал! Он бы

побежал за ним, задушил бы его! Но этот человек был уже за пирамидами ружей, уходил, исчезал в темноте.

– Как Голиаф! – пробормотал он. – Да не может быть! Он там, со своими... Но если я когда-нибудь его встречу!..

Он угрожающе показал на горизонт, обьятый мраком, на весь этот лиловатый восток, который был для него Пруссией. Все замолчали; опять заиграли зорю, но где-то далеко; она нежно замирала на другом конце лагеря, среди уже неясных очертаний.

– Черт подери! – воскликнул Оноре. – Мне попадет, если не поспею на перекличку... Добрый вечер! Прощайте, ребята!

Он в последний раз пожал обе руки Вейсу и большими шагами пошел к холмику, где расположился артиллерийский резерв; больше он ни слова не сказал об отце и не просил ничего передать Сильвине, хотя ее имя готово было сорваться у него с языка.

Прошло еще несколько минут, и слева, там, где стояла вторая бригада, рожок подал сигнал к перекличке. Ближе отозвался другой. Потом, далеко-далеко, третий. Все ближе, ближе, они заиграли все вместе, и ротный горнист Год тоже разразился целым залпом звонких нот. Это был рослый, худой, болезненный парень, лишенный всякой растительности на подбородке, всегда молчаливый. Он неистово дул в рожок.

Тогда сержант Сапен, строгий человек с большими мутными глазами, начал перекличку. Тоненьким голоском он выкликал фамилии, а солдаты, подойдя, отвечали на разные тоны, от виолончели до флейты. Но вдруг произошла заминка.

– Лапуль! – громко повторил сержант.

Никто не ответил. Жану пришлось броситься к куче свежих сучьев, которые Лапуль, подзадориваемый товарищами, упорно старался разжечь. Лежа на животе, покрасневшись, он дул изо всех сил на тлевшие сучья, но только разгонял дым, который чернел и стлался по земле.

– Черт возьми! Да бросьте возиться! – крикнул Жан. – На перекличку!

Обалделый Лапуль приподнялся, казалось, понял и заорал: «Здесь!» – таким диким голосом, что Лубе покатился со смеху. Паш, кончив шить, отозвался чуть слышным голосом, словно бормотал молитву. Шуто даже не привстал, презрительно выдавил нужное слово и растянулся еще удобней.

Дежурный лейтенант Роша неподвижно стоял в нескольких шагах и ждал. После переклички сержант Сапен доложил, что все налицо, и лейтенант проворчал, указывая на Вейса, который все еще беседовал с Морисом:

– Есть даже один лишний. Что он здесь делает, этот «шпак»?

– Разрешено полковником, господин лейтенант, – счел нужным объяснить Жан.

Роша сердито пожал плечами и молча зашагал вдоль палаток, ожидая, когда потушат огни; а Жан, разбитый усталостью после дневного перехода, уселся в нескольких шагах от Мориса, чьи слова доносились до него сначала только как жужжание; но он их не слушал, погрузившись в смутные мысли, которые медленно шевелились в его неповоротливом мозгу.

Морис был за войну, считал ее неизбежной, необходимой для самого существования народов. Он пришел к такому заключению с той поры, как воспринял эволюционные идеи, всю эту теорию эволюции, которой в то время увлекалась образованная молодежь. Разве жизнь не является непрерывной борьбой? Разве сама сущность природы не есть постоянная борьба, победа достойнейшего, сила, поддерживаемая и обновляемая действием, жизнь, которая возрождается вечно юной после смерти? И он вспомнил, как его охватил великий порыв, когда ему явилась мысль стать солдатом, идти сражаться за родину, чтобы искупить свои проступки.

Может быть, Франция в дни плебисцита и доверилась императору, но не хотела войны. Он сам еще неделю назад считал войну преступной и нелепой. Люди спорили о кандидатуре германского принца на трон Испании; в неразберихе, которая возникла мало-помалу, были виноваты, казалось, все, и никто уже не знал, откуда исходит провокация; оставалась только

неизбежность, роковой закон, по которому в назначенный час один народ идет против другого народа. Трепет пронесся по Парижу. Морис вспомнил пламенный вечер, когда бульвары кишели толпой, люди потрясали факелами, кричали: «На Берлин! На Берлин!» Перед ратушей, взобравшись на козлы извозчицкой кареты, высокая красавица с царственным профилем завернулась в полотнище флага и запела «Марсельезу». Неужели все это обман, неужели сердце Парижа не забило? А потом, как всегда, после восторженного состояния последовали часы страшных сомнений и отвращения: прибытие в казарму, встреча с фельдфебелем, который его принял, и сержантом, который велел выдать ему военную форму; зловонная и омерзительно грязная комната, грубое обращение новых сотоварищей, механические упражнения, от которых ломило все тело и притуплялся мозг. Но через несколько дней он к этому привык и уже не испытывал отвращения. И его опять охватил восторг, когда полк наконец выступил на Бельфор.

С первых же дней Морис был совершенно уверен в победе. Для него план императора был ясен: бросить четыреста тысяч солдат на Рейн, перейти реку, прежде чем пруссаки будут готовы энергичным наступлением отделить Северную Германию от Южной, и благодаря какой-нибудь блистательной победе немедленно заставить Австрию и Италию выступить на стороне Франции. Ведь пронесся слух, что 7-й корпус, в состав которого входил полк Мориса, должен отплыть из Бреста в Данию, чтобы отвлечь силы Пруссии и вынудить ее держать на этой границе целую армию. Врага застигнут врасплох, окружат его со всех сторон, раздавят в несколько недель. Простая военная прогулка от Страсбурга до Берлина! Но со времени ожидания в Бельфоре Мориса мучила тревога. 7-й корпус, которому поручили охранять незащищенный участок в Шварцвальде, прибыл туда в невероятном беспорядке, в неполном составе, лишенный самого необходимого. Из Италии ждали 3-ю дивизию; 2-ю кавалерийскую бригаду оставили в Лионе, опасаясь народных волнений; три батареи где-то заблудились. Обнаружилось, что ничего нет; бельфорские склады должны были поставлять все, но оказались пустыми: ни палаток, ни котелков, ни фланелевых поясов, ни медикаментов, ни кузниц, ни пут для коней. Ни одного санитаря, ни одного интендантского рабочего. В последнюю минуту выяснилось, что не хватает тридцати тысяч запасных частей, необходимых для ружей; пришлось послать за ними в Париж офицера, но он с трудом добыл и привез в Бельфор только пять тысяч. Кроме того, Мориса удручало бездействие. Вот уже две недели, как они торчат здесь. Почему не выступают? Он понимал, что каждый лишний день является непоправимой ошибкой, еще одной потерянной возможностью победить. И, наперекор намеченному плану, возникла действительность – трудность его выполнения, то, что Морису пришлось узнать позже и что он пока только смутно и тревожно чувствовал: семь армейских корпусов расположены вдоль границы от Меца до Битча и от Битча до Бельфора; войска везде не в полном составе; армия вместо четырехсот тридцати тысяч человек насчитывала самое большее двести тридцать тысяч; генералы завидуют друг другу, каждый из них во что бы то ни стало хочет добиться маршальского жезла, не помогает другому; ничего не предусмотрено; мобилизацию и сосредоточение войск произвели одновременно, чтобы выгадать сроки, и отсюда – безнадёжная неразбериха; наконец, недуг медлительности, исходящей сверху, от больного императора, неспособного на быстрые решения, охватывает всю армию, разлагает ее, уничтожает, ведет к ужаснейшим поражениям, и Франция не может обороняться. А между тем в мучительном ожидании и бессознательном трепете перед будущим все-таки жила уверенность в победе.

Вдруг 3 августа грянуло известие о победе под Саарбрюкеном, одержанной накануне. О большой победе? Неизвестно. Но газеты захлебывались от восторга: это вторжение в Германию – первый шаг в славном наступлении; наследный принц хладнокровно поднял пулю на поле сражения, – это начало легенды о нем. А два дня спустя узнали, что под Виссенбургом французы были застигнуты врасплох и разбиты; из груди у всех вырвался крик бешенства. Пять тысяч французов попали в засаду и в продолжение десяти часов сопротивлялись трид-

цати пяти тысячам пруссаков. Эта гнусная бойня взывала о мести! Наверно, командиры виноваты в том, что не приняли мер предосторожности и ничего не предусмотрели. Но все это поправимо. Мак-Магон вызвал 1-ю дивизию 7-го корпуса, 1-й корпус будет поддержан 5-м; сейчас пруссаки, наверно, снова вернулись за Рейн, а наши пехотинцы гонят их штыками в спину. И при мысли о том, что в этот день произошло яростное сражение, усиливалось лихорадочное ожидание известий, под необъятным бледнеющим небом с каждой минутой росла тревога.

Обращаясь к Вейсу, Морис повторял:

– Да, сегодня им, видно, здорово всыпали!

Вейс ничего не ответил и озабоченно покачивал головой. Он тоже смотрел в сторону Рейна, на восток, где уже совсем стемнело, на черную стену, омраченную тайной. При последних звуках зори на оцепенелый лагерь нисходила глубокая тишина, изредка нарушаемая шагами и голосами запоздавших солдат. Мерцающей звездой зажегся свет на ферме, где бодрствовал штаб в ожидании известий, а они приходили каждый час, но очень неопределенные. У костра уже никого не было; свежие сучья все еще дымились густым печальным дымом, и легкий ветер поднимал его над тревожной фермой, застилая в небе первые звезды.

– Здорово всыпали? – повторил наконец Вейс. – Да услышит вас Бог!

Жан, сидевший в нескольких шагах от них, насторожился, а лейтенант Роша, уловив это трепетное пожелание, в котором прозвучало и сомнение, внезапно остановился, чтобы послушать.

– Как? Вы не уверены в окончательной победе? – спросил Морис. – Вы считаете возможным поражение?

У Вейса задрожали руки; он внезапно изменился в лице и побледнел.

– Поражение? Сохрани Бог!.. Ведь я местный житель, моего деда и бабуку убили в тысяча восемьсот четырнадцатом году иноземцы, и, когда я только подумаю о нашествии врага, у меня сжимаются кулаки, я готов стрелять вместе с простыми солдатами – вот так, в сюртучке!.. Поражение? Нет, нет! Я не допускаю и мысли об этом!

Он успокоился и в изнеможении пожал плечами.

– Но только... Как вам сказать?.. Я беспокоюсь... Я хорошо знаю наш Эльзас; я еще раз изъездил его вдоль и поперек по своим делам, и мы, эльзасцы, видели то, что должно было броситься в глаза генералам и чего они не хотят видеть... Да, мы желали войны с Пруссией, мы уже давно ждали случая разрешить наш старый спор. Но это не мешало нашим добрососедским отношениям с Баденом и с Баварией; у нас у всех по ту сторону Рейна родственники или друзья. Мы считали, что и они мечтают, как мы, сбить с пруссаков их невыносимую спесь... Мы были так спокойны, так уверены, но вот уже две недели, как нас охватило нетерпение и тревога: мы видим, что дела идут все хуже и хуже. Со дня объявления войны неприятельской кавалерии дана возможность нападать на деревни, вести разведку, резать телеграфные провода. Баден и Бавария поднимаются, огромные передвижения войск происходят в Пфальце; известия отовсюду, с рынков, с ярмарок, свидетельствуют о том, что границе угрожает враг, а когда местные жители, мэры коммун, в испуге прибегают сообщить об этом офицерам проходящих частей, офицеры пожимают плечами: «Это галлюцинации трусов, неприятель далеко!..» Как? Нельзя терять ни одного часа, а проходят дни за днями! Чего ждать! Чтобы на нас навалилась вся Германия?!

Он говорил тихо и скорбно, точно повторяя самому себе то, что долго обдумывал:

– Эх! Германия! Мне она хорошо знакома; ведь хуже всего то, что вы, французы, знаете ее так же плохо, словно какой-нибудь Китай... Помните, Морис, моего двоюродного брата, Гюнтера – того, что прошлой весной приезжал ко мне в Седан? Он мне двоюродный брат с материнской стороны: его мать, сестра моей матери, вышла замуж в Берлине; так вот, он весь – ихний, он ненавидит Францию. Он теперь призван на военную службу, он капитан прусской

гвардии... Помню, когда я провожал его на вокзал, он резко сказал: «Если Франция объявит нам войну, мы ее разобьем!»

Вдруг лейтенант Роша, который до сих пор сдерживался, в бешенстве бросился к ним. Это был худощавый верзила, лет пятидесяти, с удлиненным лицом и впалыми щеками, загорелый, задымленный. Огромный нос с горбинкой нависал над широким ртом, выразившим вспыльчивость и доброту; жесткие седые усы торчали и щетинились. Громовым голосом он заорал:

– Вы что здесь околачиваетесь и разлагаете наших солдат?

Жан не вмешивался в ссору, но считал, что лейтенант, в сущности, прав... Сам уже удивляясь потере времени и беспорядку, он все-таки никогда не сомневался, что пруссакам здорово выплут. Дело верное: ведь войска пришли сюда только ради этого.

– Да что вы, лейтенант! – в смущении ответил Вейс. – Я никого не собираюсь разлагать... Наоборот, я бы хотел, чтобы все видели то, что вижу я; ведь лучше знать – тогда можно все предвидеть и преодолеть... Так вот, Германия...

Он говорил сдержанно, как всегда, и рассудительно изложил свои опасения. После Садовой Пруссия усилилась, национальное движение поставило ее во главе других германских государств; это молодая возникающая обширная империя, охваченная неудержимым порывом к объединению; система всеобщей воинской повинности превращает всю нацию в обученную, дисциплинированную армию, снабженную мощным вооружением, закаленную в большой войне, еще овеянную славой молниеносной победы над Австрией; эта армия знает, чего она хочет, ею командуют офицеры, почти сплошь молодые, она подчиняется главнокомандующему, который, по-видимому, собирается обновить военное искусство и отличается необычайной осторожностью, дальновидностью и исключительной ясностью мысли. И рядом с Германией он попытался показать Францию. Французская империя обветшала; ее еще приветствовали в дни плебисцита, но она уже прогнила до основания, ослабила чувство любви к родине, уничтожив свободу и став либеральной слишком поздно на свою же погибель; она вот-вот рухнет, как только не сможет больше удовлетворять жажду наслаждений, которую сама вызвала; правда, армия ее славится замечательной природной храбростью, увенчана лаврами побед в Крыму и в Италии, но развращена возможностью для военнообязанных ставить взамен себя наемников, действует методами времен африканской войны, слишком уверена в победе и поэтому не пытается овладеть новой военной наукой; наконец, генералы ее большей частью посредственны, снедаемы завистью друг к другу, а некоторые потрясающе невежественны, во главе же их – император, больной, нерешительный, его обманывают, и он сам себя обманывает в этой страшной аванюре, в которую все бросились, закрыв глаза, без настоящей подготовки, в ужасе, в смятении, словно стадо, которое ведут на убой.

Роша слушал, разинув рот, выпучив глаза. Его огромный нос сморщился. И вдруг Роша расхохотался, расхохотался раскатистым смехом, от которого его рот растянулся до ушей:

– Да что вы тут городите? Что за глупости!.. Да это нелепо, слишком даже глупо, не стоит ломать себе голову, чтоб это понять... Рассказывайте такие басни новобранцам, но не мне: я службу уже двадцать семь лет!

Он ударил себя в грудь кулаком. Сын каменщика, выходца из Лимузена, он родился в Париже и, презирая ремесло отца, поступил восемнадцати лет добровольцем в армию. Выслужившись из солдат, он тянул лямку – капралом в Африке, сержантом под Севастополем, лейтенантом после битвы под Сольферино – и ухлопал пятнадцать лет, полных невзгод и героических подвигов, на то, чтобы добиться этого чина: он был настолько необразован, что не мог и надеяться на производство в капитаны.

– Вот вы все знаете, а этого не знаете... Да, под Мазаграном – мне было только девятнадцать лет – нас собралось сто двадцать три человека, не больше, и мы четыре дня держались против двенадцати тысяч арабов... Да-да, годы и годы я провел там, в Африке – в Маскаре, в

Бискре, в Деллисе, потом в Великой Кабилии, потом в Лагуате! Были бы вы там с нами, вы бы видели: стоило нам появиться, и все эти поганые арабы убегали, словно зайцы... А под Севастополем – черт подери! – нельзя сказать, чтобы там было приятно. Бури такие, что все сметали на своем пути, холод собачий, вечные тревоги; и эти дикари в конце концов все взорвали. Ну а мы взорвали их самих! Да-да, еще как, с музыкой, поджарили на большой сковороде!.. А под Сольферино... Вы ведь там не были, так что ж вы говорите? Да, под Сольферино дело было жаркое, хотя лил такой дождь, какого вы, наверно, никогда не видали! Под Сольферино мы задали австрийцам здоровую трепку; надо было видеть, как от наших штыков они удирали во все лопатки, сбивали друг друга с ног, чтобы бежать еще быстрее, словно у них зад горел!

Его раширало от радости; все старинное веселье французских вояк звенело в его торжествующем смехе. Сложилась легенда: французский солдат разгуливает по всему свету, деля досуг между своей милой и бутылкой доброго вина; он завоевал всю землю, напевая веселые песенки. Один капрал, четыре солдата – и целые армии врагов разбиты в пух и прах!

Вдруг он воскликнул громовым голосом:

– Как? Победить Францию? Францию?.. Чтобы эти прусские свиньи нас разбили?

Он подошел, с силой схватил Вейса за борт сюртука. Все его длинное, худощавое тело странствующего рыцаря выражало полное презрение к любому врагу, кто бы он ни был, полное пренебрежение ко времени и пространству.

– Зарубите себе на носу, сударь!.. Если пруссаки осмелятся прийти к нам, мы их погоним обратно пинками в зад... Слышите? Пинками в зад, до самого Берлина!..

И Роша величественно выпрямился; он был исполнен детской чистоты, простодушной уверенности блаженного, который ничего не знает и ничего не боится.

– Черт возьми! Это так, потому что это так!

Ошеломленный Вейс поспешил ответить, что ничего лучшего и не желает, он был почти убежден. А Морис молча слушал, не смея вмешиваться в разговор в присутствии командира, но в конце концов рассмеялся вместе с ним: этот молодец хоть и глуп, зато от его слов на сердце становится веселей. Да и Жан кивал головой, одобряя каждое слово лейтенанта. Он тоже побывал под Сольферино, в то самое время, когда там лил такой дождь. Вот это ловко сказано! Если бы все командиры так говорили, можно было бы плевать на то, что не хватает котелков и фланелевых поясов!

Уже давно стемнело, а Роша все еще размахивал во мраке своими длинными руками. За всю жизнь он прочитал, да и то с трудом, только одну книгу, книгу о наполеоновских победах, которая попала в его ранец из ящика разносчика. Он никак не мог успокоиться, и все его знания прорвались в неистовом крике:

– Австрийцев мы поколотили под Кастильоне, под Маренго, под Аустерлицем, под Ваграмом! Пруссиков мы поколотили под Эйлау, под Иеной, под Лютценом! Русских мы поколотили под Фридрихсдорфом, под Смоленском, под Москвой! Испанцев, англичан мы колотили всюду! Весь земной шар мы поколотили сверху донизу, вдоль и поперек!.. И чтоб теперь поколотили нас? Как так? Разве мир изменился?

Он снова выпрямился и поднял руку, словно древко знамени:

– Послушайте! Сегодня там сражались; мы ждем известий. Так вот! Я вам сообщу их сам!.. Пруссиков поколотили, так поколотили, что от них остались только рожки да ножки, остается только подмести крошки!

В эту минуту под темным небом раздался мучительный крик. Была ли то жалоба ночной птицы или донесшийся издали, полный слез, голос тайны? Весь лагерь, погруженный во мрак, вздрогнул, и лихорадочная тревога, затаенная в ожидании вестей, которые так запаздывали, еще усилилась. Вдали, на ферме, свеча, озаряя бодрствующий штаб, казалось, запылала ярче, прямым, неподвижным пламенем, как в церкви.

Было уже десять часов. Горнист Год внезапно вынырнул словно из-под земли и первый подал сигнал тушить огни. Ему ответили другие рожки, затихая один за другим, замирающей фанфарой, словно цепenea во сне. Задержавшийся так поздно Вейс нежно обнял Мориса. «Счастливо и смелей! Я поцелую за вас Генриетту и передам привет Фушару». Он еще не успел уйти, как пронесся новый слух, все заволновались. «Маршал Мак-Магон только что одержал крупную победу: прусский кронпринц взят в плен вместе с двадцатью пятью тысячами пруссаков, неприятельская армия отброшена и разбита, в наши руки попали пушки и снаряжение».

– Черт возьми! – воскликнул громовым голосом Роша.

И, провожая обрадованного Вейса, который спешил вернуться в Мюлуз, он повторил:

– Пинками в зад, пинками в зад, до самого Берлина!

Через четверть часа пришла другая депеша: французская армия была вынуждена оставить Верт и отступить. Ну и ночь! Роша, сраженный сном, завернулся в плащ и уснул на голой земле, не заботясь о крове, как это часто с ним случалось. Морис и Жан нырнули в палатку, где уже спали вповалку, положив голову на ранцы, Лубе, Шуто, Паш и Лапуль. В палатке помещалось шесть человек, но приходилось подбирать ноги. Сначала Лубе развлекал голодных товарищей, рассказывая Лапулю, что на следующее утро им дадут цыпленка; но они слишком устали и захрапели – все равно, пусть приходят пруссаки! Минуту Жан лежал неподвижно, рядом с Морисом, он тоже устал, но никак не мог заснуть; все, что говорил этот господин из Мюлуза, вертелось у него в голове: Германия взялась за оружие, у нее бесчисленные, всепожирающие силы; он чувствовал: его товарищ тоже не спит и думает о том же. Вдруг Морис нетерпеливо отодвинулся, и Жан понял, что мешает ему. Между этим крестьянином и образованным горожанином бессознательная вражда, классовое отвращение, различие в воспитании проявлялись, словно физический недуг. Но Жан этого стыдился, это его все-таки огорчало, он ежил, старался стушеваться, пытаясь избежать вражды и презрения, которые он угадывал. Под открытым небом становилось свежо, а в палатке, среди кучи людей, было так душно, что Морис в отчаянии вскочил, вышел и улегся в нескольких шагах. Жан, чувствуя себя несчастным, погрузился в тягостный, полный кошмаров полусон, в котором смешалось сожаление о том, что его не любят, и страх перед огромной бедой, стремительно приближающейся из глубин неизвестности.

Прошло, наверно, несколько часов; весь лагерь, черный, притихший, как будто исчезал под гнетом бесконечной, злой ночи; над ним нависло нечто страшное, неизвестное. Во тьме кто-то вздрагивал, из невидимой палатки внезапно доносился хрип. Слышались какие-то звуки – их трудно было распознать: фыркание коня, звон сабли, шаги запоздавшего бродяги, все обычные шумы, которые теперь звучали угрозой. Но вдруг перед походными кухнями вспыхнул огонь. Первая линия ярко озарилась, показались пирамиды ружей, по прямым блестящим стволам которых заструились красные отсветы, похожие на ручьи свежей крови, и в этом неожиданном пожаре возникли черные фигуры неподвижных часовых. Так это и есть враг, о котором уже два дня тому назад говорили командиры, враг, которого французы пришли искать из Бельфора в Мюлуз? Так же внезапно, среди сверкания искр, пламя погасло. Оказалось, что горела куча сучьев, вокруг которых так долго хлопотал Лапуль: они тлели несколько часов и вдруг запылали, как солома.

Жан испугался этого яркого света и тоже стремительно вышел из палатки; он чуть не наткнулся на Мориса, который лежал, опираясь на локоть, и глядел вдаль. Ночь стала еще темней; Жан и Морис лежали на голой земле в нескольких шагах друг от друга. Перед ними, в глубокой тьме, виднелось только, все еще озаренное, окно фермы – одинокая свеча, казалось горевшая над покойником. Который может быть час? Два часа, три часа? А там штабные, верно, и не ложились спать. Слышался крикливый голос генерала Бурген-Дефейля; генерал сердился: в эту бессонную ночь ему приходилось подкреплять себя только грогом и сигарами. Прибывали новые телеграммы; дела, наверно, шли все хуже и хуже; скакали еле различимые

тени обезумевших ординарцев. Слышались топот, ругань, приглушенный, словно предсмертный, вскрик, и опять воцарялась страшная тишина. Что это? Конец? По лагерю, замершему во сне и тревоге, пронеслось ледяное дыхание.

И тогда в быстро промелькнувшей узкой и высокой тени Жан и Морис узнали полковника де Винейля. Рядом с ним шел, наверное, военный врач Бурош, толстяк с львиной гривой. Они обменивались бессвязными, отрывистыми словами, произносили их шепотом, как в кошмаре:

– Депеша из Базеля... Наша первая дивизия уничтожена... Сражались двенадцать часов... Вся армия отступает...

Тень полковника остановилась, позвала другую тень, и кто-то сейчас же подошел, ловкий и подтянутый.

– Это вы, Бодуэн?

– Да, господин полковник.

– Ах, мой друг! Мак-Магон разбит под Фрешвиллером, Фроссар разбит под Шпикереном, де Файи обречен на бездействие, бесполезен... Под Фрешвиллером один только корпус против целой армии... чудеса храбрости... Но все сметено, поражение, паника... дорога во Францию открыта...

Его душили слезы, еще какие-то слова нельзя было разобрать; три тени исчезли, потонули, растворились во тьме.

Морис, весь передернувшись, вскочил и пробормотал:

– Боже мой!

И не нашел других слов, а Жан, холодея, прошептал:

– Эх, проклятая судьба!.. Ваш родственник был все-таки прав, когда говорил, что они сильнее нас.

Морис был вне себя, ему хотелось задушить Жана. Значит, пруссаки сильнее французов? От одной этой мысли сердце его обливалось кровью. Но крестьянин прибавил спокойно и упрямо:

– Ну ничего! Если получаешь оплеуху, это еще не значит, что надо сдаваться... Придется все-таки бить.

Перед ними выросла долговязая фигура, закутанная в плащ. Они узнали Роша: может быть, слухи, а может быть, дыхание поражения разбудило его от крепкого сна. Лейтенант стал расспрашивать, хотел узнать, что случилось.

Он с трудом понял, и его наивные детские глаза широко раскрылись от удивления. И раз десять он повторил:

– Нас разбили! Как разбили? Почему разбили?

На востоке забелел рассвет, тусклый, безысходно печальный рассвет над сонными палатками; в одной из них можно было различить землистые лица Лубе и Лапуля, Шуто и Паша; солдаты все еще храпели. В темном тумане, поднявшемся с далекой реки, занималась траурная заря.

II

К восьми часам солнце рассеяло тяжелые тучи; и у Мюлуза, над широкой плодородной равниной, засиял теплый и ясный августовский день. Это было в воскресенье. Лагерь уже проснулся, и в нем забурилась жизнь; под чистым небом колокола всех приходов звонили вовсю. В прекрасном воскресном дне, после страшного бедствия, была своя радость, свой яркий праздничный свет.

Вдруг горнист Год подал сигнал к раздаче довольствия. Лубе удивился. Как? Что такое? Неужели дадут цыпленка, которого он обещал вчера Лапулю? Лубе родился в Париже, в районе Центрального рынка, на улице Ла-Коссонри; то был плод случайной любви уличной тор-

говки; он поступил в армию добровольцем, «ради грошей», как он выражался, предварительно перепробовав все ремесла; Лубе любил поест и вечно принохивался, где бы можно полакомиться. Он пошел взглянуть, в чем дело. А Шуто, монмартрский живописец, маляр, красавец-мужчина, смутьян, глубоко возмущенный тем, что его опять призвали в армию, уже по отбытии воинской повинности, зло издевался над Пашем, застав его на коленях за палаткой, когда тот молился. Это что за поповские штуки! Не может ли он попросить у своего Господа Бога сто тысяч франков дохода? Но Паш, прибывший из глухой пикардийской деревни, щуплый и остроголовый, сносил эти шутки и только отмалчивался кротко, точно мученик. Он служил посмешищем для всего отделения, как и Лапуль – неотесанный великан, выросший в болотах Солони, такой безграмотный, что в день своего прибытия в полк он спросил, где тут можно видеть короля. И хотя известие о поражении под Фрешвиллером уже с утра обошло всех, эти четыре солдата шутили, занимаясь привычным делом равнодушно, как машины.

Внезапно раздались удивленные, насмешливые восклицания. Капрал Жан в сопровождении Мориса возвращался после раздачи дров. Наконец-то роздали топливо, которое солдаты напрасно ждали накануне, чтобы сварить суп! Опоздали всего только на двенадцать часов!

– Молодцы интенданты! – крикнул Шуто.

– Нужды нет, теперь дело в шляпе! – сказал Лубе. – Ну и сварю же я вам замечательный суп!

Обычно он охотно занимался стряпней, и ему за это были благодарны: он прекрасно стряпал. Для Лапуля он придумывал необычайные поручения.

– Сходи за шампанским! Сходи за трюфелями!..

И в это утро ему пришла в голову забавная мысль, как парижскому уличному мальчишке, который насмехается над дурачком.



– Скорей! Скорей! Дай мне цыпленка!

– А где цыпленок?

– Да вот, на земле... Я же тебе посулил цыпленка; капрал его сейчас принес!

Он показал на большой белый камень, лежавший под ногами. Ошеломленный Лапуль в конце концов поднял его и стал вертеть в руках.

– Разрази тебя гром! Да вымой цыпленка!.. Еще! Вымой ему лапки, вымой шею!.. Хорошенько! Бездельник!

И, здорово живешь, забавы ради, радуясь и смеясь при мысли о супе, Лубе швырнул камень вместе с мясом в котел, полный воды.

– Вот это придаст вкус бульону! А-а! Ты и не знал? Значит, ты ничего не знаешь. Эх ты, растяпа!.. Ну ладно, получишь гузку, увидишь, какая она будет мягкая!

Солдаты покатывались со смеху, глядя на Лапуля, который поверил и заранее облизывался. Экая бестия Лубе, уж с ним не соскучишься! И когда на солнце затрещал огонь, когда вода в котле запела, все, благоговейно окружив его, расцвели, глядя, как приплясывает кусок мяса, и вдыхая приятный запах, который оведал их. Они уже накануне были голодны как собаки; мысль о еде была сильнее всего. Их поколотили, но это не мешает набить брюхо. По всему лагерю горели огни походных кухонь, кипела вода в котелках и царила ненасытная певучая радость под светлый звон колоколов, который доносился еще и еще из всех приходов Мюлуза.

Но вдруг к девяти часам все засуетились, офицеры зашныряли; по приказанию капитана Бодуэна лейтенант Роша прошел мимо палаток своей роты и крикнул:

– Ну, складывайте все, убирайте, выступаем!

– А суп?

– Суп в другой раз! Выступаем сейчас же!

Рожок Года властно зазвенел. Все были ошеломлены; нарастал глухой гнев. Как? Выступать натошак? Не подождать и часа, пока поспеет суп? Отделение все-таки решило поесть бульону; но это была только теплая вода, а мясо еще не уварилось и было жесткое, как подошва. Шуто сердито заворчал. Жану пришлось вмешаться, чтобы поторопить солдат. А зачем так спешить, бежать, будоражить людей, не давать им времени подкрепиться? Морис слышал, что идут навстречу пруссакам, чтоб отплатить им, но только недоверчиво пожал плечами. Не прошло и четверти часа, как лагерь снялся, палатки были свернуты, привязаны к ранцам, пирамиды ружей разобраны, и на голой земле остались только потухающие огни костров.

Важные причины побудили генерала Дуэ к немедленному отступлению. Депеша шельштадтского субпрефекта, посланная уже три дня тому назад, подтвердилась: телеграфировали, что опять видели огни пруссаков, угрожающих Маркольсгейму; другая телеграмма извещала, что неприятельский корпус переходит Рейн под Гунингом. Выяснились разные подробности, якобы точные: замечены кавалерия и артиллерия, движутся войска, направляясь отовсюду к месту сбора. Если задержаться хоть на час, путь к отступлению на Бельфор будет, безусловно, отрезан. После поражения под Виссенбургом и Фрешвиллером генералу Дуэ, отрезанному, затерянному в авангарде, оставалось только поспешно отступать, тем более что утренние известия были еще хуже ночных.

Впереди рысью отправились штабные офицеры, пришпоривая коней из боязни, что пруссаки опередят их и окажутся уже в Альткирке. Генерал Бурген-Дефейль предвидел трудный переход и, проклиная суматоху, предусмотрительно двинулся через Мюлуз, чтобы сытно позавтракать. Видя отъезд офицеров, мюлузцы пришли в отчаяние; при известии об отступлении жители выходили на улицу, горевали о внезапном уходе войск, которые они так молили прийти: значит, их бросают на произвол судьбы? Неужели несчетные богатства, сваленные на вокзале, будут оставлены врагу? Неужели самый их город должен к вечеру стать завоеванным городом? А за городом жители деревень и уединенных домишек тоже стояли на пороге, удивленные, испуганные. Как? Полки, которые прошли здесь еще накануне, отправляясь в бой, теперь отступают, бегут, даже не дав сражения?! Командиры были мрачны, пришпоривали коней, не желали отвечать на вопросы, как будто за ними по пятам гналось несчастье. Значит, пруссаки на самом деле разбили французскую армию и со всех сторон наводняют Францию, как разлившаяся река? И жителям, охваченным все возрастающей паникой, уже слышался в

тишине далекий гул нашествия, грохочущего с каждой минутой все сильнее, и на тележки уже сваливали мебель, дома пустели, люди вереницами бежали по дорогам, где галопом мчался ужас.

В неразберихе отступления 106-й полк, двигавшийся вдоль канала от Роны до Рейна, должен был остановиться у моста, на первом километре перехода. Согласно приказам, никуда не годным и к тому же плохо выполненным, здесь собралась вся 2-я дивизия, а мост, только-только в пять метров, был так узок, что переправа затянулась до бесконечности.

Прошло два часа, а 106-й полк все еще ждал, неподвижно стоя перед непрерывным потоком, который катился мимо. Солдаты, стоявшие на солнцепеке, не снимая ранцев, с ружьем у ноги, наконец стали возмущаться.

– Значит, мы в арьергарде! – шутливо сказал Лубе.

Но Шуто взорвало.

– Нас поджаривают здесь, видно, чтобы поиздеваться над нами. Мы пришли сюда первые, надо было шагать дальше.

По ту сторону канала, на широкой плодородной равнине, на ровных дорогах, между порослями хмеля и зрелыми хлебами, было видно продвижение отступающих войск, которые шли теперь в обратном направлении, по той же дороге, что и накануне. Послышались смешки, злые шутки.

– Ну и скачем же мы! – заговорил опять Шуто. – Занятное у нас наступление, а они со вчерашнего утра прожужжали нам об этом уши... Нет, это уж слишком! Приходишь, и вдруг опять удирать, даже не успеваешь глотнуть супу!

Солдаты смеялись все громче; Морис, стоявший рядом с Шуто, считал, что Шуто прав. «Раз мы здесь торчим, словно колья, и ждем уже два часа, почему нам не дали спокойно сварить суп и поесть?» Их опять стал мучить голод, охватила черная злоба при воспоминании о недоваренном завтраке; они не могли понять необходимости этой спешки, которая казалась им нелепостью и малодушием. Ну и зайцы, нечего сказать!

Лейтенант Роша прикрикнул на сержанта Сапена, упрекая его за дурную выправку солдат. На шум пришел капитан Бодуэн:

– Смирно!

Жан, как старый солдат, проделавший итальянский поход и давно привыкший к дисциплине, молчал; он смотрел на Мориса, которого, казалось, забавляли злые насмешки разгневанного Шуто, и удивлялся, как это барин, человек, получивший образование, может одобрять такие слова. Пусть они, в сущности, справедливы, все же говорить так не следует! Если каждый солдат начнет бранить начальство и высказывать свое мнение, далеко не уйдешь, это уж верно.

Наконец после часового ожидания 106-й полк получил приказ двигаться дальше. Но мост был все еще так загроможден арьергардом дивизии, что произошел невероятный беспорядок. Несколько полков смешалось; некоторые роты все-таки прошли, унесенные потоком людей; остальные, отброшенные к краю дороги, вынуждены были топтаться на месте. В довершение неразберихи кавалерийский эскадрон, упрямо стараясь пробиться, столкнулся на соседние поля отстававших пехотинцев. Не прошло и часа, а солдаты уже плелись вразброд, колонна растягивалась, как будто намеренно опаздывая.

Жан, не желая оставить свое отделение, очутился позади и заблудился в ложбине среди дороги. 106-й полк исчез; ни одного солдата, даже ни одного офицера из их роты. Здесь были только отдельные солдаты, сборище незнакомцев, изнеможенных, отставших в самом начале перехода; каждый шел куда вздумается, куда приведут тропинки. Солнце жгло, было очень жарко; ранец, ставший еще тяжелей от палатки и другой поклажи, страшно давил плечи. Многие не привыкли носить его; им мешала даже плотная походная шинель, подобная свинцовому покрову. Вдруг бледный солдатик с водянистыми глазами остановился, бросил свой ранец в канаву и глубоко вздохнул, отдуваясь, как умирающий, который возвращается к жизни.

– Правильно! – пробормотал Шуто.

Однако сам он пошел дальше, согнувшись под ношей. Но вот еще два солдата сбросили ранцы, и тогда он не выдержал и крикнул:

– Эх! Плевать!

И движением плеча сбросил свой ранец под откос. Спасибо! Двадцать пять кило на спине! С него довольно! Солдаты не выючный скот, чтобы таскать все это!

Почти в ту же минуту его примеру последовал Лубе и заставил Лапуля сделать то же самое. Паш, который крестился перед всеми придорожными каменными крестами, отстегнул ремень и бережно положил весь свой груз у подножия невысокой стены, как будто он собирался за ним прийти. Один только Морис еще шел со своей ношей, как вдруг Жан обернулся и увидел, что у его солдат за плечами ничего нет.

– Наденьте ранцы, ведь за вас взгреют меня!

Но солдаты, еще не бунтуя, сердито и молча шли дальше, подталкивая капрала на узкой дороге.

– Говорят вам, наденьте ранцы, или я доложу!

Мориса словно стегнули хлыстом по лицу. «Доложу!» Эта скотина, эта деревенщина доложит, что несчастные, обессиленные люди сбросили невыносимую ношу! И в припадке слепого гнева он тоже отстегнул ремень, бросил свой ранец на край дороги и вызываяще, в упор посмотрел на Жана.

– Ладно! – с обычным спокойствием сказал Жан, не имея возможности противодействовать своим людям. – Вечером посчитаемся.

У Мориса страшно болели ноги. Он не привык к грубым солдатским башмакам и натер себе ступни до крови. Здоровье у него было довольно слабое; казалось, спину, словно рана, жжет невыносимая боль от ранца, хотя Морис от него отделался; бедняга не знал, в какой руке нести ружье, от одной этой тяжести он уже задыхался. Но еще больше страдал он от душевного изнеможения: им овладел приступ отчаяния, которому он был подвержен. Часто, не имея сил сопротивляться, Морис вдруг чувствовал, что воля его побеждена, он подпадал под власть дурных инстинктов, плыл по течению и потом сам плакал от стыда. Его ошибки в Париже были только безумствами того, «другого», как он выражался, слабого юноши, который в часы малодушия становился способным на последние низости. И теперь, волоча ноги под изнурительным солнцем, во время отступления, похожего на бегство, он был только животным из этого стада, отставшего, разброшенного, усеявшего дороги. То был отзвук поражения, отзвук грома, прогрохотавшего далеко-далеко, во многих милях отсюда, грома, глухой отгул которого преследовал теперь по пятам людей, охваченных ужасом, бегущих, даже еще не увидав неприятеля. На что теперь надеяться? Разве не все кончено? Они разбиты, остается только лечь и заснуть!



– Ничего! – громко закричал Лубе, хохоча, как мальчишка с Центрального рынка. – Ведь мы не на Берлин идем!

«На Берлин! На Берлин!» Морис слышал, как огромная толпа выкрикивала это на бульварах в ночь безумного восторга, когда он решил пойти добровольцем на войну. И вот дохнула буря, ветер подул в обратную сторону; то была внезапная, страшная перемена ветра; ведь в этой жаркой вере вылился порыв целого народа, но при первом же поражении необычайный

подъем сразу сменился отчаянием, и оно одержало верх и вихрем понеслось среди солдат, блуждающих, побежденных и разбросанных уже до сражения.

– Проклятое ружье! Ну и режет же оно мне лапы! – воскликнул Лубе, опять перекинув его на другое плечо. – Вот так дудка для прогулки!

И, намекая на деньги, которые он получил как заместитель новобранца, прибавил:

– Да уж, полторы тысячи за такую работу! Ловко меня облапошили!.. А богач, за которого меня укокошат, наверно, сидит себе да покуривает трубку у камина!

– А у меня, – проворчал Шуто, – кончился срок, я мог уже двинуться домой... Да, действительно не повезло: попасть в такую гнусную переделку!

Он бешено взмахнул ружьем. И вдруг изо всех сил бросил его за изгородь.

– Эх, да ну тебя, окаянная штукавина!

Ружье дважды перевернулось в воздухе, упало в поле и так осталось там, длинное, неподвижное, похожее на труп. За ним полетели другие. Скоро поле усеяли брошенные ружья, словно застывшие от печали на солнцепеке. Солдатами овладело какое-то безумие: голод сводил желудки, башмаки натирали ноги, переход был невыносим, за спиной чувствовалась угроза неожиданного поражения. Больше не на что надеяться, начальники удирают, продовольственная часть не кормит. Гнев и досада душили людей, хотелось покончить со всем этим сейчас же, еще ничего не начав. Так что ж? За ранцем можно бросить и ружье. Солдат охватила слепая злоба; они хохотали, как сумасшедшие, и ружья летели в сторону, вдоль бесконечного хвоста отставших, рассеянных по всей равнине.

Прежде чем отделаться от своего ружья, Лубе красиво завертел его, как тамбурмажор свой жезл. Лапуль, увидя, как все товарищи бросают ружья, наверное, решил, что так и надо, и последовал их примеру. Но Паш благодаря религиозному воспитанию еще не потерял чувства долга и отказался сделать то же самое; тогда Шуто обругал его и обозвал «поповским сынком».

– Вот ханжа!.. И все потому, что его старуха-мать, деревенщина, каждое воскресенье заставляла его глотать боженьку!.. Ступай, ступай в церковь! Подло идти против товарищей!

Под огненным небом Морис шел мрачный, молчаливый, опустив голову. Он двигался как в кошмаре, чудовищно усталый, преследуемый призраками; казалось, он идет к пропасти, разверзшейся перед ним; изнемогая, он, образованный человек, опустился до уровня этих жалких людей.

– Да! – резко сказал он Шуто. – Вы правы!

Морис уже положил ружье на груды камней, как вдруг Жан, тщетно пытавшийся помешать солдатам так позорно бросать оружие, увидел все и ринулся к нему:

– Поднимите ружье сейчас же, сейчас же! Слышите?!

Волна страшного гнева прилила к лицу Жана. Он, обычно такой спокойный, миролюбивый, сверкал глазами, властно кричал громовым голосом. Солдаты еще никогда не видели его таким; они с удивлением остановились.

– Сейчас же поднимите свое ружье, или вы будете иметь дело со мной!

Морис, весь дрожа, выкрикнул только одно слово, желая придать ему оскорбительный смысл:

– Мужик!

– Да-да, я мужик, а вы барин!.. Потому вы и свинья, подлая свинья, говорю вам прямо в лицо!

Все засвистали, но капрал продолжал с небывалой силой:

– Если вы образованный, надо это показать... Если мы мужики и скоты, вы обязаны подавать нам всем пример, раз вы знаете больше нашего... Поднимите ружье, черт подери! Или я добьюсь того, что вас расстреляют на первой же стоянке.

Морис подчинился и поднял ружье. От бешенства слезы заволокли ему глаза. Он пошел дальше, шатаясь, как пьяный, рядом с товарищами, которые теперь насмехались над ним за

то, что он уступил. Проклятый капрал! Морис ненавидел его неутолимой ненавистью, у него заняло сердце после этого сурового урока, который в глубине души он считал справедливым. И когда Шуто проворчал, что таким капралам надо в первый же день сражения всадить пулю в затылок, у Мориса помутилось в глазах: ему ясно представилось, как он сам где-нибудь за углом разбивает Жану череп.

Тут внимание солдат привлекло другое. Лубе заметил, что во время ссоры Паш тоже бросил свое ружье, но тайком положил его на край откоса. Почему? Паш не пытался объяснить, он только посмеивался исподтишка, словно облизываясь, чуть стыдливо, как послушный мальчик, которого укоряют за первую провинность. Он радостно зашагал, размахивая руками. И по залитой солнцем длинной дороге, между зрелых хлебов и однообразно чередовавшихся с ними порослей хмеля, солдаты шли все дальше; отставшие, без ранцев и ружей, они были теперь только толпой заблудившихся, плетущихся людей, кучей бродяг и нищих, и при их приближении в испуганных деревнях захлопывались двери.

Вдруг новое происшествие окончательно взорвало Мориса. Издали донесся глухой грохот: это была резервная артиллерия; она тронулась последней, и ее передние пушки показались из-за поворота дороги; отставшие пехотинцы едва успели броситься в соседние поля. Артиллерия двигалась колонной, она шла великолепной рысью, в образцовом порядке; то был целый полк из шести батарей; полковник ехал сбоку, офицеры – каждый на своем месте. Орудия с громом проезжали на равном, строго выдержанном расстоянии одно от другого, и при каждом – зарядный ящик, лошади и люди. В пятой батарее Морис прекрасно узнал орудие своего двоюродного брата Оноре. Фейерверкер гордо сидел на коне, налево от переднего ездового, белокурого красавца Адольфа, который ехал на сильном рыжем жеребце, прекрасно подобранном к пристяжной, бежавшей рядом; а среди шестерых канониров, сидевших попарно на передке орудия и на коробах зарядного ящика, ехал в своем ряду наводчик Луи, смуглый, небольшого роста брюнет, товарищ Адольфа, его «напарник», как говорится, по установившемуся в артиллерии обычаю соединять конного и пешего. Морис познакомился с ними в лагере; теперь они показались ему крупнее, а орудие с четверкой лошадей, в сопровождении зарядного ящика, который везли шесть лошадей, сверкало как солнце; орудие было начищено до блеска, выхолощено, любимо всеми – и конями и людьми, теснившимися вокруг него, словно честная, трудолюбивая семья. Особенно больно было Морису, когда кузен Оноре бросил на отставших пехотинцев презрительный взгляд и вдруг изумился, заметив его в толпе безоружных солдат. Полк прошел, за ним потянулись обозные повозки, фуры, походные кузницы. В последнем клубе пыли появились запасные кони и наконец исчезли за новым поворотом дороги под затихающий топот копыт и грохот колес.

– Черт подери! – объявил Лубе. – Нехитрая штука держаться молодцами, когда едешь в коляске!

Штаб прибыл в Альткирк, и город оказался свободным. Пруссаков пока не было. Но, все еще опасаясь, что они гонятся за ним по пятам, что они появятся с минуты на минуту, генерал Дуэ приказал идти дальше, к Данмари, и головные колонны пришли туда только в пять часов вечера. Было восемь, уже темнело, а наполовину поредевшие, перемешанные полки только начали располагаться бивуаком. Изнеможенные люди падали от усталости и голода. Чуть не до десяти часов приходили, разыскивали и не находили своих рот отдельные солдаты и целые группы солдат, вся эта жалкая бесконечная вереница хромающих, возмущенных людей, рассыпанных по дорогам.

Найдя свой полк, Жан немедленно принялся искать лейтенанта Роша, чтобы доложить о случившемся. Лейтенант и капитан Бодуэн обсуждали дела с полковником; все трое стояли у дверей маленькой харчевни, озабоченные перекличкой, стараясь узнать, где находятся их солдаты. Как только Жан стал докладывать лейтенанту, полковник подозвал его и заставил

рассказать все. Глаза старика казались еще черней по сравнению с его сединой и белыми усами. Он выслушал, и его длинное желтое лицо исказилось болью.

– Господин полковник! – воскликнул капитан Бодуэн, не дожидаясь, пока выскажется начальник. – Надо расстрелять с десяток этих бандитов!

Лейтенант Роша одобрительно кивнул. Но полковник беспомощно махнул рукой:

– Их слишком много... Что вы хотите? Их человек семьсот. Кого из них схватить?... Да если хотите знать, генерал этого и не желает. Он к ним относится по-отечески и говорит, что в Африке ни разу не наказал ни одного солдата... Нет-нет, я ничего не могу сделать. Это ужасно!

Капитан позволил себе повторить:

– Это ужасно!.. Конец всему!

Жан собрался уйти, но вдруг услышал, как полковой врач Бурош, которого он не заметил, глухо проворчал на пороге харчевни: «Нет больше ни дисциплины, ни наказаний, армии какую! Не пройдет недели, и командиров погонят к черту пинками в зад; а если несколькими молодым людям немедленно пробить башку, другие, может быть, образумятся».

Никто не был наказан. Офицерам из арьергарда, сопровождавшим обозные повозки, пришла счастливая мысль: они предусмотрительно велели собрать ранцы и ружья по обеим сторонам дороги. Не хватало только нескольких штук; солдат опять вооружили на рассвете, словно украдкой, чтобы замять дело. Было приказано сняться с лагеря в пять часов; но уже в четыре солдат разбудили и начали поспешно отступать к Бельфору, в уверенности, что пруссаки находятся в двух-трех милях. Опять пришлось довольствоваться сухарями; солдаты чувствовали себя разбитыми после короткой лихорадочной ночи, не подкрепившись ничем горячим. И снова в это утро хорошее выполнение перехода было испорчено поспешной отправкой.

Этот день – день безмерной печали – прошел еще хуже. Облик природы изменился; войска очутились в гористой местности; дороги шли вверх, спускались по склонам, черневшим елями, а узкие долины в зарослях дрока цвели золотом. Но среди сияющей природы, под августовским солнцем, с каждым часом все безумней веяло паническим страхом. Делеша известила мэров деревень о необходимости предупредить жителей, что лучше припрятать самые ценные вещи, – и ужас достиг предела. Значит, враг уже близко? Успеешь ли бежать? И всем чудился все растущий грохот нашествия, глухой напор реки, вышедшей из берегов, и в каждой новой деревне он вызывал новые страхи, жалобы, вопли.

Морис шел как лунатик; его ноги были окровавлены, плечи ныли от ранца и ружья. Он больше ни о чем не думал, он двигался во власти кошмара после всего, что видел; он уже не сознавал, что перед ним и за ним шагают товарищи, он чувствовал только, что слева плетется Жан, изнемогающий от такой же усталости и муки, как и он сам. Деревни, через которые они проходили, были такими жалкими, что сердце сжималось от боли. Как только появлялись отступающие войска – истомленные, плетущиеся вразброд солдаты, – жители приходили в волнение, торопились бежать. А ведь две недели тому назад те же самые жители были так спокойны, ведь Эльзас ждал войны, улыбаясь, в полной уверенности, что французы будут сражаться на немецкой земле! Но враг вторгся во Францию, и на их земле, вокруг их домов, на их полях разразилась буря, подобная тем страшным ураганам с градом и громом, которые в один час уничтожают целую область! У дверей, в безумной суматохе, люди нагружали повозки, громоздили мебель, рискуя все разбить. Сверху, из окон, женщины бросали последний матрац, просовывали колыбель, которую чуть не забыли. К ней привязывали младенца, клали ее на самый верх повозки и прикрепляли к ножкам опрокинутых стульев и столов. На другой повозке, позади, усаживали в шкаф старого больного деда, привязывали его и увозили, словно вещь. А те, у кого не было лошади, сваливали свой скарб на тачку; некоторые уходили пешком, со свертком тряпья под мышкой; другие старались спасти только стенные часы и прижимали их к сердцу, как ребенка. Невозможно было забрать все добро, и брошенная мебель, слишком тяжелые узлы белья валялись в канаве. Некоторые перед уходом запирали все; дома, с

наглухо закрытыми дверьми и окнами, казались мертвыми; а большинство так торопилось и было так безнадежно уверено, что все будет разрушено, что оставляло старые жилища открытыми; окна и двери были распахнуты настежь, обнаруживая пустоту оголенных комнат; и безотрадней всего были эти дома, полные такой печали, как в завоеванном городе, опустошенном страхом, эти бедные дома, открытые всем ветрам, откуда бежали даже кошки, словно предчувствуя то, что произойдет. В каждой новой деревне жалкое зрелище казалось еще мрачней; число переселенцев и беженцев увеличивалось, толкотня усиливалась, сжимались кулаки, раздавалась брань, лились слезы.

Но особенно душила Мориса тоска на большой дороге, в открытом поле. Там, по мере приближения к Бельфору, вереницы беженцев становились все тесней, составляли непрерывный поток. Эх, бедные люди, мечтавшие найти убежище у стен крепости! Мужчина подгонял коня, женщина шла за ним и тащила детей. По ослепительно-белой дороге, которую жгло беспощадное солнце, спешили целые семьи, изнемогая под тяжестью ноши, они бежали врассыпную, и за ними не поспевали малыши. Многие сняли башмаки, шли босиком, чтобы двигаться быстрее; полуодетые матери на ходу кормили грудью плачущих младенцев. Люди испуганно оборачивались, бешено размахивали руками, словно желая закрыть ими горизонт, спешили уйти, гонимые вихрем ужаса, который трепал волосы и хлестал наскоро накинутые одежды. Фермеры, со всеми своими батраками, бросались прямо в поле и подгоняли выпущенный на волю скот: баранов, коров, волов, лошадей, которых палками выгнали из хлевов и конюшен. Они пробирались в ущелья, на высокие плоскогорья, в пустынные леса, поднимая пыль, как в те древние времена великих переселений, когда подвергшиеся нашествию народы уступали место варварам-завоевателям. Они надеялись укрыться в шалашах, среди одиноких утесов, далеко от всякой дороги, куда не посмеет явиться ни один вражеский солдат. Окутавший их летучий дым вместе с утихающим мычанием и топотом стад уже терялся за еловыми лесками, а по дороге все еще лился поток повозок и пешеходов, мешая продвижению войск, – такой сплошной поток на подступах к Бельфору, такой неудержимый напор разлившейся реки, что несколько раз приходилось останавливаться.

И вот на короткой остановке Морис увидел сцену, о которой у него осталось воспоминание, как о полученной пощечине.

На краю дороги стоял уединенный дом, жилище бедного крестьянина, а за домом находился скудный клочок земли. Крестьянин не пожелал покинуть свою ниву: он был привязан всеми корнями к земле; он остался, не мог уйти, не оставив здесь частицы своей плоти. Он в изнеможении сидел на скамье в комнате с низким потолком и невидящими глазами смотрел на проходивших солдат, отступление которых предоставляло его урожай врагу. Рядом стояла его еще молодая жена с ребенком на руках, а другой малыш держался за ее юбку, и все трое плакали. Вдруг дверь распахнулась, и показалась бабка, глубокая старуха, высокого роста, худая; она яростно размахивала голыми руками, похожими на узловатые веревки. Ее седые волосы выбились из-под чепца, развевались над тощей шеей; слова, которые она выкрикивала в бешенстве, застревали у нее в горле, и нельзя было их разобрать.

Сначала солдаты рассмеялись. Хорош вид у сумасшедшей старухи! Но потом до них донеслись слова. Старуха орала:

– Сволочи! Разбойники! Труссы! Труссы!

Она кричала все пронзительней, во всю глотку, бросая им в лицо ругательства, укоряя в трусости! Хохот утих, по рядам пронесся холод. Солдаты опустили головы, смотрели в сторону.

– Труссы! Труссы! Труссы!

Казалось, она вдруг выросла. Она предстала худая, трагическая, в оборванном платье, водя рукой с запада на восток таким широким взмахом, что заполняла все небо.

– Труссы! Рейн не здесь!! Рейн там! Труссы, труссы!

Наконец солдаты двинулись дальше, и Морис, случайно взглянув на Жана, увидел, что его глаза полны слез. Мориса это потрясло; ему стало еще больней при мысли, что даже такие грубые люди, как Жан, почувствовали незаслуженное оскорбление, с которым приходилось мириться. Все будто рушилось в его бедной измученной голове; он не мог даже припомнить, как он дошел до стоянки.

Седьмому корпусу понадобился целый день, чтобы пройти двадцать три километра от Данмари до Бельфора. И только к ночи войска наконец расположились бивуаком у стен крепости, в том самом месте, откуда вышли четыре дня назад, отправляясь навстречу врагу. Хотя было поздно и все очень устали, солдаты во что бы то ни стало захотели развести огонь и приготовить похлебку. С тех пор как выступили, они наконец в первый раз могли отведать горячего. У огня, в прохладе и темноте, они уткнулись носом в котелки; уже слышалось удовлетворенное ворчание, как вдруг по всему лагерю пронесся поразительный слух. Одна за другой прибыли две новые депеши: пруссаки не перешли Рейн под Маркольсгеймом, и в Гунинге нет ни одного пруссака. Переход через Рейн под Маркольсгеймом, понтонный мост, наведенный при свете больших электрических фонарей, – все эти тревожные рассказы оказались только кошмаром, необъяснимой галлюцинацией шельштадтского субпрефекта. А что касается корпуса, угрожающего Гунингу, пресловутого шварцвальдского корпуса, перед которым трепетал Эльзас, то он состоит только из небольшого вюртембергского отряда, двух батальонов и одного эскадрона; но их ловкая тактика, марши, контрмарши, неожиданные, внезапные появления вызвали уверенность, что у врага от тридцати до сорока тысяч солдат. И подумать, что еще утром мы чуть не взорвали мост в Данмари! На целых двадцать миль богатая область опустошена без всякой причины, от нелепейшего страха; и при воспоминании обо всем, что они видели в тот злосчастный день, когда жители бежали, обезумев, угоняя скот в горы, когда вереница повозок, нагруженных мебелью, тянулась в город среди толпы женщин и детей, солдаты возмущались, и кричали, и горько смеялись.

– Ну и ловко же вышло, нечего сказать! – набив рот и помахивая ложкой, бурчал Лубе. – Как? Это и есть враг, на которого нас вели? А никого нет!.. Двенадцать миль вперед, двенадцать миль назад – и ни одной собаки не встретили! Все это зря: ради удовольствия дрожать от страха!

Шуто, сердито скребя котелок, принялся бранить генералов, не называя их:

– Эх! Свины! Ну и олухи! Хороших нам дали зайцев в командиры! Если они так удирают, когда нет ни одного врага, задали б они стрелкача, если бы очутились перед настоящей армией!

В огонь подкинули еще охапку дров, и радостно вспыхнуло большое пламя; Лапуль, блаженно грея ноги, разразился идиотским смехом и ничего не понял, но Жан, который сначала притворялся, будто ничего не слышит, по-отечески сказал:

– А ну, замолчите!.. Если вас услышат, дело кончится плохо.

Он сам, по своему здравому смыслу, был возмущен глупостью командиров. Но приходилось требовать к ним уважения, а так как Шуто все еще ворчал, Жан его перебил:

– Замолчите!.. Вот лейтенант, обратитесь к нему, если хотите о чем-нибудь заявить!

Морис, молча сидевший в стороне, опустил голову. Да, это конец всему! Только начали – и уже конец! Отсутствие дисциплины, возмущение солдат при первой же неудаче превращали армию в разнузданную, развращенную банду, созревшую для всяких катастроф. Здесь, под Бельфором, они еще не видели ни одного пруссака и уже разбиты!

Последующие дни однообразно тянулись в тоскливом ожидании и тревоге. Чтобы чем-нибудь занять солдат, генерал Дуэ послал их строить оборонительные сооружения города, которые не были еще завершены. Солдаты принялись неистово копать землю, разбивать камни. И ни одного известия! Где армия Мак-Магона? Что делается под Мецем? Разносились самые невероятные слухи, несколько парижских газет своими противоречивыми сообщениями еще больше сбивали с толку и усиливали мрачную тревогу. Генерал дважды письменно испраши-

вал приказов, но ему даже не ответили. Наконец 12 августа 7-й корпус получил подкрепление благодаря прибытию из Италии 3-й дивизии, но все-таки он располагал только двумя дивизиями: первая была разбита под Фрешвиллером, затерялась в общем бегстве, и все еще было неизвестно, куда занес ее поток. Они были покинуты, отрезаны от всей Франции. И вот через неделю по телеграфу пришел приказ о выступлении. Все очень обрадовались, все предпочитали что угодно такому прозябанию. За время приготовлений опять возникали догадки; никто не знал, куда их посылают; одни говорили – оборонять Страсбург, другие – смело ворваться в Шварцвальд, чтобы отрезать пруссакам путь к отступлению.

На следующее утро 106-й полк отправился одним из первых; солдат впихнули в вагоны для скота. Вагон, где разместилось отделение Жана, был так набит, что Лубе уверял: «Некуда плюнуть!» Пищу и на этот раз роздали беспорядочно: солдаты получили вместо причитавшегося им довольствия много водки, и поэтому все были пьяны, бесновались, орали и горланили похабные песни. Поезд мчался; в вагоне, окутанном табачным дымом, нельзя было различить друг друга; было невыносимо жарко; от этой кучи тел пахло потом; из черного поезда доносились брань и рев, которые заглушали грохот колес и затихали вдали, в угрюмых полях. И только в Лангре солдаты поняли, что их везут обратно в Париж.

– Эх, черт подери! – повторял Шуто, уже царивший в своем углу как бесспорный властитель дум благодаря своему всемогущему дару краснобайства. – Конечно, нас выстроят в Шарантоне, чтобы помешать Бисмарку прийти на ночевку в Тюильри.

Солдаты корчились от смеха, находили слова Шуто очень забавными, не зная почему. Да и все то, что они видели в дороге, вызывало свист, крик и оглушительный смех: и крестьяне, стоявшие вдоль железнодорожного полотна, и люди, которые в тревоге ждали поездов на маленьких станциях, надеясь узнать новости, – вся испуганная, трепещущая перед нашествием Франция. А перед сбежавшимися жителями только мелькал паровоз и белый призрак поезда, окутанного паром и грохотом, и прямо в лицо им неслись рев всего этого пушечного мяса, увозимого с предельной быстротой. На одной станции, где поезд остановился, три хорошо одетые дамы, богатые горожанки, раздавали солдатам чашки бульона и имели крупный успех. Солдаты плакали, благодарили, целовали им руки.

Но дальше опять раздались гнусные песни, дикие крики. И вскоре, за Шомоном, поезд встретился с другим, с поездом артиллеристов, которых посылали в Мец. Ход замедлился; солдаты обоих поездов братались и бешено кричали. Артиллеристы были, наверно, еще пьяней, они стояли, высунув в окна кулаки, и одержали верх, заорав с такой отчаянной силой, что заглушили все:

– На бойню! На бойню! На бойню!

Казалось, пронесся великий холод, ледяной кладбищенский ветер. Внезапно наступила тишина, и послышалось хихиканье Лубе:

– Невесело, ребята!

– Да, они правы! – объявил Шуто тоном кабацкого оратора. – Противно, что столько славных парней посылают на убой ради каких-то гнусных историй, в которых они не понимают ни аза.

Он продолжал. Это был развратитель, бездельник, маляр с Монмартра, гуляка и кутила, который плохо переварил обрывки речей, слышанных на собраниях, смешивая возмутительные глупости с великими принципами свободы и равенства. Он знал все, он поучал товарищей, особенно Лапуля, обещая сделать его молодцом.

– Так вот, старина, дело очень простое!.. Если Баденге и Бисмарк не ладили, пусть разрешают свой спор сами, кулаками, не беспокоя сотни тысяч людей, которые даже не знают друг друга и не желают драться.

Весь вагон хохотал в восторге от остроумия Шуто, а Лапуль, не зная, кто такой Баденге, неспособный даже ответить, воюет он за императора или за короля, повторял, как непомерно выросший ребенок:

– Конечно, пусть подерутся, а потом можно и чокнуться!

А Шуто повернулся к Пашу и принялся за него:

– Вот ты веришь в Господа Бога... Твой Господь Бог запретил драться. Так как же ты здесь, простофиля?

– Что ж, – ответил ошеломленный Паш, – я здесь не ради своего удовольствия... Только жандармы...

– Жандармы! Подумаешь! Наплевать на жандармов!.. Знаете, что бы мы сделали, будь мы смелыми ребятами?.. Сейчас, когда нас выведут из поезда, мы бы все удрали, да! Мы бы спокойно удрали, и пусть этот толстый боров Баденге и вся шайка его грошовых генералов разделяются, как хотят, со сволочами пруссаками!

Раздались возгласы одобрения; соблазн подействовал. Шуто торжествовал, выкладывая свои теории, и в их мутной смеси понесли: Республика, права человека, гниль Империи, которую надо свергнуть, измена всех начальников, продавшихся, как это доказано, за миллион. Шуто провозглашал себя революционером; остальные даже не знали, республиканцы ли они и каким способом можно стать республиканцами; только обжора Лубе знал, какие у него убеждения: он всегда был за похлебку; но тем не менее все в восторге бранили императора, офицеров, проклятое дело, которое они бросят, – да еще как! – пусть только надоест. Разжигая пьянеющих солдат, Шуто одним глазком посматривал на Мориса, на этого барина, которого он увеселял и чьим одобрением гордился; и, чтобы подзадорить Мориса, он решил атаковать Жана, неподвижно сидевшего с закрытыми глазами, как будто заснувшего среди общего гула. С того дня, как Жан дал суровый урок Морису, заставив его поднять брошенное ружье, добровольец, наверно, таит злобу на своего командира, и вот представляется удобный случай натравить их друг на друга.

– Да, я знаю некоторых людей, которые говорили, что подведут нас под расстрел, – грозно продолжал Шуто. – Мерзавцы! Для них мы хуже скотов, они не понимают, что, если ранец и ружье опостытели, – айда! – все это бросаешь к черту в поле, чтобы поглядеть, не вырастут ли там новые ранцы и ружья! Эй, товарищи, что они скажут, если сейчас, когда мы прижали их здесь, в уголке, мы их тоже выбросим на дорогу?.. Ладно? А-а? Надо подать пример, чтобы к нам больше не приставали с этой хреновой войной! Смерть клопам Баденге! Смерть негодьям, которые хотят, чтобы мы воевали!

Жан побагровел, кровь прилила к его лицу, как это бывало с ним в редких случаях, когда он сердился. Хотя соседи стиснули его, словно живые тиски, он встал, вытянул руки, сжал кулаки и сверкнул глазами так страшно, что Шуто побледнел.

– Черт возьми, замолчи, свинья!.. Я все еще терплю, потому что здесь нет начальства и я не могу поставить вас к стенке. Да, конечно, я б оказал здоровую услугу полку, если б избавил его от такой отпетой сволочи, как ты... Но раз наказания – пустяки, ты будешь иметь дело со мной! Я здесь больше не капрал, я только честный человек, а ты мне надоел, и я заткну тебе глотку... А-а, проклятый трус, ты не хочешь воевать да еще мешаешь другим! Ну-ка, повтори, а ну, а ну! Сейчас двину!

Все солдаты были поражены, восхищены блестящей смелостью Жана и отреклись от Шуто, а Шуто отступал перед здоровенными кулаками противника и что-то бормотал.

– Да-да, мне все равно, – воскликнул Жан, – что Баденге, что ты! Понимаешь? На политику, Республику или Империю я всегда плевал. И теперь и раньше, когда я пахал землю, я всегда хотел только одного: чтобы все были счастливы, все было в порядке, дела шли хорошо... Конечно, никому не хочется воевать. Но все-таки надо поставить к стенке сволочей, которые вас смущают, когда и так трудно вести себя хорошо. Черт подери! Друзья, разве кровь не заки-

пает в ваших жилах, когда вам говорят, что пруссаки топчут нашу землю и надо их выкинуть вон?

И с той легкостью, с какой толпа меняет мнение, солдаты шумно приветствовали капрала, а он опять поклялся разбить морду первому же солдату, который скажет, что не надо воевать. «Ура капралу! Мы живо расправимся с Бисмарком!»

Среди этой дикой овации успокоившийся Жан вежливо обратился к Морису, словно тот не был простым солдатом:

– Сударь, вы не можете быть заодно с трусами... Ведь мы еще не сражались и когда-нибудь поколотим пруссаков!

Тут Морис почувствовал, как его сердце согрел теплый луч солнца. Он сидел смущенный, униженный. Как? Значит, этот человек не просто скотина? И он вспомнил свою жгучую ненависть к Жану за то, что пришлось поднять ружье, брошенное в ту минуту, когда он не отдавал себе отчета в своих поступках. Но он вспомнил также свое удивление при виде слез Жана, когда старуха с седыми развевающимися волосами оскорбляла солдат, указывая вдаль, туда, на Рейн. Значит, братство, которое порождает общие невзгоды, общие муки, заставляло забыть старую злобу?

Морис происходил из бонапартистской семьи и мечтал о Республике только в теории; он чувствовал скорее нежность к личности императора; он был за войну: ведь в ней сама жизнь народов. Вдруг в нем снова воскресла надежда, по свойственной ему склонности к внезапным переменам настроений; восторг, который когда-то побудил его пойти добровольцем на войну, охватил его опять, и сердце забилося уверенностью в победе.

– Да, конечно, капрал, – весело ответил он, – мы их разобьем в пух и прах.

Поезд мчался, мчался все дальше, унося этот живой груз в густом дыму трубок и удушливом запахе толпы, мимо испуганных крестьян, стоявших вдоль оград на встревоженных станциях; поезд мчался, изрыгая похабные песни и пьяные крики. 20 августа солдаты прибыли в Париж, на Пантенский вокзал и в тот же вечер отправились дальше, а на следующий день выгрузились в Реймсе, чтобы двинуться в лагерь под Шалоном.

III

К удивлению Мориса, 106-й полк остановился в Реймсе и получил приказ расположиться там лагерем. Значит, они не пойдут в Шалон на соединение с армией? А два часа спустя, когда его полк составил пирамиды ружей в миле от города, у дороги в Курсель, на широкой равнине, которая простирается вдоль канала Эна – Марна, Морис еще больше удивился, узнав, что вся Шалонская армия отступает с утра и должна расположиться бивуаком в той же местности. И в самом деле, из конца в конец, до Сен-Тьерри и Ла-Невилетт, даже по ту сторону дороги на Лаон, разбили палатки, и вечером здесь должны были запалать костры четырех армейских корпусов. Очевидно, принят был план занять позиции на подступах к Парижу и ждать там пруссаков. Морис очень обрадовался. Это благоразумней всего!

Двадцать первого августа, днем, Морис бродил по лагерю, чтобы узнать последние новости. Солдаты чувствовали себя свободными, дисциплина еще больше упала, люди уходили и приходили по собственному усмотрению. Морис спокойно отправился в Реймс получить сто франков по чеку, который прислала ему сестра. В кафе он услышал, как незнакомый сержант распространялся об упадке духа среди солдат восемнадцати батальонов сенской подвижной гвардии, отправленных обратно в Париж: в 6-м батальоне чуть было не перебили командиров. Там, в лагере, каждый день оскорбляли генералов, а после поражения под Фрешвиллером не отдавали честь даже маршалу Мак-Магону. Кафе огласилось криками: между двумя мирными горожанами возник яростный спор о том, сколько у маршала будет солдат. Один говорил: триста тысяч; это было нелепо. Другой, более рассудительный, насчитал всего четыре корпуса: 12-

й, с трудом пополненный в лагере маршевыми полками и одной дивизией морской пехоты; 1-й, остатки которого приходили в беспорядке с четырнадцатого числа и состав кое-как восстанавливался; наконец, 5-й, распавшийся уже до сражений, унесенный потоком бегства, и 7-й, который прибыл тоже в плачевном состоянии, где-то потерял свою первую дивизию и нашел ее только в Реймсе, да и то разбитую; самое большее – сто двадцать тысяч человек, считая кавалерийский резерв, дивизии Бонмена и Маргерита. Но когда сержант тоже вступил в спор и с величайшим презрением обозвал эту армию сбродом, оравой бродяг, стадом простаков, которых ведут на убой болваны, – оба горожанина испугались и, опасаясь попасть в неприятную историю, улизнули.

На улице Морис купил газеты. Он набил себе карманы всеми номерами, какие достал, и принялся читать, шагая под большими деревьями по великолепным бульварам, окаймлявшим город. Где же немецкие армии? Казалось, они исчезли. Две из них, наверно, стоят под Мецем: первая, под командованием Штейнмеца, держит под наблюдением весь район крепости; вторая, под командованием принца Фридриха Карла, старается пройти вверх по правому берегу Мозели, чтобы отрезать Базену дорогу на Париж. А где же третья армия, армия прусского кронпринца, которая разбила французов под Виссенбургом и Фрешвиллером и преследует 1-й и 5-й корпуса? Где она на самом деле? Как это узнать в неразберихе противоречивых сообщений? Стоит ли она еще под Нанси? Прибыла ли под Шалон, раз мы снялись с лагеря так стремительно и подожгли вещевые склады, снаряжение, фураж и разные запасы? И опять возникла путаница, передавались противоречащие друг другу предположения о планах, приписываемых генералам. Только теперь Морис, словно отрезанный от мира, узнал о парижских событиях: весь народ, сначала уверенный в победе, потрясен внезапным известием о поражении, на улицах страшное волнение, созваны палаты, пало либеральное министерство, которое провело плебисцит, император лишен звания главнокомандующего и вынужден передать верховное командование маршалу Базену. С шестнадцатого числа император находился в Шалонском лагере, и все газеты сообщали о важном совещании, состоявшемся семнадцатого при участии принца Наполеона и генералов; но известия не совпадали в вопросе о том, какие же приняты решения; газеты приводили только вытекавшие отсюда факты: генерал Трошю назначен губернатором Парижа, маршал Мак-Магон поставлен во главе Шалонской армии, а это означало, что император окончательно стушевался. Чувствовалась невероятная нерешительность, растерянность, противоречивые планы, которые были направлены один против другого и ежечасно менялись. И вечно стоял вопрос: где же немецкие армии? Кто прав: те, кто считает, что Базен свободен и отступает к северным крепостям, или те, кто говорит, что Базен уже окружен под Мецем? Держались упорные слухи о гигантских сражениях, о героических боях, продолжавшихся целую неделю, от четырнадцатого до двадцатого, и доносился только затерянный вдали грозный гул орудий.

У Мориса ноги подкашивались от усталости; он сел на скамью. Город, казалось, жил своей обычной жизнью; в тени прекрасных деревьев няни присматривали за детьми, а мелкие рантье, как всегда, не спеша прогуливались. Морис опять взялся за газеты, как вдруг заметил статью, которую раньше пропустил, статью в неистовом листке республиканской оппозиции. Внезапно все стало ясно. Газета сообщала, что на совещании, состоявшемся семнадцатого в Шалонском лагере, сначала было решено отступить к Парижу и что генерал Трошю назначен губернатором только для того, чтобы подготовить возвращение императора. Но, прибавляла газета, эти решения были отменены по настоянию императрицы-регентши и нового министерства. По мнению императрицы, революция неминуема, если появится император. Ей приписывали слова: «Ему не вернуться живым в Тюильри». И с присущим ей упрямством она требовала наступления, соединения, вопреки всему, с армией, стоящей под Мецем; к тому же императрицу поддерживал генерал Паликао, новый военный министр, у которого был план молниеносного победного наступления, чтобы помочь Базену. Газета скользнула на колени Мориса:

он устал в одну точку, ему казалось, что теперь он понял все: оба враждебных друг другу плана, колебания маршала Мак-Магона – предпринять ли столь опасный фланговый марш с ненадежными войсками, – и нетерпеливые, все более гневные приказы из Парижа, побуждавшие его броситься в эту безумную авантюру. И в этой трагической борьбе Морису ясно предстал образ императора, отрешенного от императорской власти, которую он передал императрице-регентше, лишённого прав верховного главнокомандующего, – он облек ими маршала Базена и превратился в ничто; теперь это только тень императора, неопределенная, смутная тень, нечто бесполезное, безыменное, мешающее; Париж отверг его, и он не находил больше места в армии, с тех пор как его обязали не отдавать никаких приказов.

Морис провел грозовую ночь под открытым небом, завернувшись в одеяло, и на следующее утро с облегчением узнал, что план отступления к Парижу одерживает верх. Говорили о состоявшемся накануне новом совещании, на котором присутствовал бывший вице-император Руэр; он был прислан императрицей, чтобы ускорить продвижение на Верден, но как будто согласился с доводами маршала, что подобный маневр опасен. Не получены ли дурные известия от Базена? Утверждать это остерегались. Однако уже самое отсутствие известий было многозначительно; все офицеры, обладавшие хоть каким-нибудь здравым смыслом, высказывались за необходимость выждать под Парижем, стать для столицы резервной армией. Морис поверил, что на следующий день уже начнут отступать, раз, по слухам, получен соответствующий приказ, и на радостях захотел удовлетворить мучившее его детское желание хоть раз поесть не из солдатского котла, позавтракать где-нибудь по-настоящему: чтобы была скатерть, бутылка вина, стакан, тарелка – все, чего он лишен уже много месяцев. У него были деньги; он отправился на поиски кабачка; его сердце билось, словно он шел на любовное свидание.

По ту сторону канала, при въезде в деревню Курсель, он нашел желанный завтрак. Накануне ему сказали, что в этой деревне, в одном доме, остановился император; и Морис бродил здесь из любопытства; он вспомнил, что видел на перекрестке двух дорог кабачок с беседкой, увитой прекрасными гроздьями золотистого, уже спелого винограда. Под выющейся листвой стояли выкрашенные в зеленый цвет столы; а в распахнутую дверь большой кухни виднелись стенные часы, лубочные картинки, приклеенные среди фаянсовых тарелок, и толстая хозяйка, хлопотавшая у вертела. Позади находился кегельбан. И на всем лежала печать добродушия, веселья и красоты: настоящий старый французский кабачок!

К нему подошла хорошенькая полногрудая бабенка и, скаля белые зубы, спросила:

– Желаете позавтракать, сударь?

– Да-да!.. Дайте мне яиц, мяса, сыру!.. И белого вина!

Она уже направилась к кухне. Морис подозвал ее опять:

– Скажите, в каком доме остановился император?

– Да вот тут, сударь, прямо перед вами... Отсюда дом не виден; он за этой высокой стеной, где деревья.

Морис расположился в беседке, расстегнул пояс, чтобы свободней было дышать, и выбрал столик, на который солнце, проскальзывая сквозь листья винограда, бросало золотые блески. Он все посматривал на большую желтую стену, за которой скрывался император. Там действительно стоял скрытый от глаз дом – снаружи не видно было даже черепичной крыши. Дверь выходила на другую сторону, на узкую деревенскую улицу, без единой лавки и даже без одного окна; она извивалась между мрачных стен. Позади, раскинутый среди соседних построек, маленький парк казался островком густой зелени. А на другом конце дороги виднелся широкий двор, окруженный сараями и конюшнями, загроможденный колясками и фургонами, кишевший беспрерывно проходящими и уходящими людьми.

– Неужели это все для императора? – думая пошутить, спросил Морис у служанки, которая накрывала стол свежей скатертью.

– Вот именно, только для императора, для него одного! – ответила она с очаровательной улыбкой, радуясь, что может показать свои белые зубы.

Наверно, осведомленная конюхами, которые уже со вчерашнего дня приходили сюда выпить, она все перечислила: главный штаб, состоящий из двадцати пяти офицеров, шестьдесят лейб-гвардейцев и взвод проводников из охраны, шесть жандармов из полевой жандармерии, императорскую свиту, насчитывающую семьдесят три человека: дворецких, камердинеров, лакеев, поваров, поварят, затем четырех верховых лошадей и две коляски для императора, десять лошадей для конюхов, восемь для курьеров и для грумов, не считая сорока семи почтовых лошадей; далее один шарабан, двенадцать фургонов для багажа, из которых два, предоставленные поварам, вызвали в ней восхищение обилием утвари, тарелок, бутылок, расставленных в образцовом порядке.

– Вы бы видели эти кастрюли, сударь! Блестят как солнце!.. И всякие блюда, горшки, миски и прочие штуки, что служат не знаю уж для чего!.. А погреб! Бордо, бургундское, шампанское – все, что нужно для славной выпивки! Есть чем угостить!

Радуясь безупречно чистой скатерти, восхищаясь белым вином, сверкавшим в стакане, Морис с небывалой жадностью съел два яйца всмятку. Когда он поворачивал голову, слева, из двери беседки, открывалась обширная равнина, усеянная палатками, целый город, возникший на сжатом поле между каналом и Реймсом. Только несколько убогих деревьев чуть оживляли зелеными пятнами серое пространство. Три мельницы простирали свои тонкие крылья. В голубом небе, над смутными очертаниями реймских крыш, тонувших в листве диких каштанов, вырисовывался огромный остов собора, гигантский даже на расстоянии, рядом с низкими домами. И воскресали школьные воспоминания, заученные, зазубренные уроки: коронавание французских королей, священный сосуд с миром. Хлодвиг, Жанна д'Арк, вся славная старая Франция.

Морисом снова овладела мысль об императоре, живущем в этом скромном, наглухо закрытом особняке; он опять взглянул на большую желтую стену и с удивлением прочел начертанные огромными буквами слова: «Да здравствует Наполеон!» – а рядом, еще крупней – грубая похабщина. Буквы побледнели от дождей, надпись, наверно, была давней. Как странно было прочесть на этой стене возглас старинного воинственного восторга, приветствие, наверно, в честь дяди-завоевателя, а не племянника! Все детство Мориса возрождалось песней в воспоминаниях о тех годах, когда там, в Шен-Попюле, с колыбели он слушал повествования деда, солдата великой армии. Мать умерла, отец был вынужден примириться с должностью сборщика налогов, пережив крушение славы, которое выпало на долю сыновей героев после падения Империи; дед жил на жалкую пенсию, вернувшись к убогому быту мелкого чиновника, и его единственным утешением было рассказывать о своих походах внукам-близнецам, мальчику и девочке, белокурым детям, которым он почти заменил мать. Он сажал Генриетту на левое колено, Мориса – на правое и часами рассказывал гомерические повести о сражениях.

Времена смешались; казалось, битвы происходили вне истории, в чудовищном столкновении всех народов. Англичане, австрийцы, пруссаки, русские проходили поочередно и все вместе, смотря по тому, кто с кем в союзе, и не всегда можно было понять, почему разбиты одни, а не другие. Но в конце концов под героическим натиском гения, сметавшего армии, как соломой, все были неизбежно заранее побеждены и разбиты. Маренго! Битва на равнине, большие, искусно построенные линии, образцовое, в шахматном порядке, отступление батальонов, молчаливых, бесстрастных под огнем, легендарная битва, проигранная в три часа дня, выигранная в шесть, битва, в которой восемьсот гренадеров консульской гвардии сломили натиск всей австрийской кавалерии, когда Дезэ прибыл, чтобы погибнуть и превратить начало поражения в бессмертную победу! Аустерлиц! Прекрасное солнце славы в зимнем тумане, Аустерлиц, который начался со взятия Праценской возвышенности и кончился невероятным разгромом врага на обледенелых озерах, когда целый корпус русской армии со страшным треском

провалился под лед, – люди и кони, а гений Наполеона, конечно все предвидевший, ускорил их гибель градом ядер. Иена! Могила прусской мощи, сначала залпы стрелков в октябрьском тумане, нетерпение Нея, чуть не погубившего все дело, потом выступление Ожеро – он и спас Нея, – сильный удар, пробивший центр неприятельских войск, наконец паника, беспорядочное бегство хваленной прусской кавалерии, которую наши гусары косили саблями, точно спелый овес, усеивая романтическую долину трупами людей и коней. Эйлау, омерзительное Эйлау! Самая кровопролитная битва, бойня, воздвигшая груды изуродованных тел; Эйлау, красное от крови под снежной метелью, битва на мрачном героическом кладбище; Эйлау, еще гремящее молниеносным натиском восьмидесяти эскадронов Мюрата, которые прорвали из конца в конец русскую армию, усыпав землю таким множеством трупов, что сам Наполеон заплакал. Фридланд! Огромная страшная западня, куда русские снова попали, как стая ветреных воров; Фридланд – образец военного искусства императора, который знал все и все предвидел, – день, когда наш левый фланг стоял неподвижно, невозмутимо, а маршал Ней, взяв город, улицу за улицей, разрушал мосты, – и внезапно наш левый фланг ринулся на правый фланг неприятеля, тесня его к реке, громя на берегу; Фридланд – такая резня, что противники убивали друг друга еще в десять часов вечера. Ваграм! Битва, в которой австрийцы старались отрезать нас от Дуная, усиливали свой правый фланг, чтобы разбить маршала Массена, а тот, хотя и был ранен, командовал, сидя в открытой коляске; лукавый же титан Наполеон сначала предоставлял врагам свободу действий, и вдруг сто наших пушек пробили яростным огнем обнажившийся центр неприятельских войск и отбросили их больше чем на милю, а правый фланг, боясь, что его отрежут, не устоял перед побеждающим снова маршалом Массена, и вот остатки армии бегут среди такого опустошения, словно прорвало плотину. Наконец Москва! Битва, где яркое солнце Аустерлица засияло в последний раз, – страшная схватка людей, столкновение огромных полчищ, упрямая храбрость, холмы, захваченные под непрерывным огнем, редуты, взятые приступом с помощью холодного оружия, постоянные контратаки в борьбе за каждую пядь земли и такая неистовая отвага русской гвардии, что для победы понадобились яростные атаки Мюрата, гром трехсот пушек, стреляющих одновременно, и доблесть Нея, торжествующего героя этого дня. И в каждом сражении знамена развевались в вечернем воздухе все с тем же трепетом славы, все те же возгласы: «Да здравствует Наполеон!» – раздавались в час, когда огни бивуаков вспыхивали на завоеванных позициях, и французы были повсюду у себя дома, как завоеватели, пронесшие свои непобедимые знамена с одного конца Европы до другого, и достаточно было перешагнуть чужой рубеж, чтобы повергнуть во прах покоренные народы!..

Морис доедал отбивную котлету, опьяненный не столько белым вином, сверкавшим в его стакане, сколько этой великой славой, певшей гимны в его памяти, как вдруг его взгляд упал на оборванных солдат, покрытых грязью, похожих на разбойников, уставших рыскать по дорогам; Морис слышал, как они спросили у служанки, где именно стоят полки, расположившиеся лагерем вдоль канала.

Морис подозвал их:

– Эй, товарищи, сюда!.. Да ведь вы из седьмого корпуса?

– Конечно. Из первой дивизии!.. Черт подери! Нам да не быть оттуда! Ведь я сражался под Фрешвиллером, там дело было жаркое, могу за это поручиться... А этот товарищ, он из первого корпуса; он был под Виссенбургом; тоже скверное место!

Они рассказали, как их понесло в общем потоке бегства, как они, полумертвые от усталости, остались на дне оврага, были даже ранены и потащились в хвосте армии, и вынуждены останавливаться в городах, страдая от приступов изнурительной лихорадки, и так отстали, что только теперь, слегка оправившись, пришли сюда, чтобы найти свою часть.

У Мориса сжалось сердце: готовясь приступить к швейцарскому сыру, он заметил, как они жадно взглянули на его тарелку.

– Мадемуазель! – позвал он служанку. – Еще сыра, хлеба и вина!.. Товарищи, вы тоже закусите, правда? Я угощаю. За ваше здоровье!

Они радостно сели за стол. Морис похолодел, глядя на них: то были жалкие, опустившиеся безоружные солдаты в красных штанах и шинелях, подвязанных бечевками, залатанных такими пестрыми лоскутьями, что эти военные стали похожи на грабителей, на цыган, которые вконец износили рвань, добытую на каком-нибудь поле сражения.

– Да, черт подери! Да, – заговорил высокий солдат, набив рот сыром, – там было не весело!.. Надо было это видеть. Ну-ка, Кутар, расскажи!

И низенький солдат, размахивая куском хлеба, принялся рассказывать:

– Я стирал рубаху, другие ребята варили суп... Представьте себе отвратительную дыру, настоящую воронку, а кругом леса; оттуда эти свиньи-пруссаки и подползли так, что мы их даже не заметили... И вот, в семь часов, в наши котлы посыпались снаряды. Будь они прокляты! Мы не заставили себя ждать, схватили ружья и до одиннадцати часов – истинная правда! – думали, что здорово всыпали пруссакам... Надо вам сказать, нас не было и пяти тысяч, а эти сволочи все подходили да подходили. Я залег на бугре, за кустом, и видел, как они вылезают спереди, справа, слева – ну настоящий муравейник, куча черных муравьев, вот, кажется, больше их нет, а они ползут еще и еще. Об этом нельзя говорить, но мы все решили, что наши командиры – форменные олухи, раз они загнали нас в такое осиное гнездо, вдали от товарищей, дают нас перебить и не выручают... А наш генерал – бедняга Дуэ – не дурак и не трусишка, да на беду в него угодила пуля, и он бухнулся вверх тормашками. Больше никого и нет, хоть шаром покати! Ну да ладно, мы еще держались. Но пруссаков слишком много, надо все-таки удирать. Сражаемся в уголку, обороняем вокзал; и такой грохот, что можно оглохнуть... А там, не знаю уж как, город, наверно, взяли; мы очутились на горе, кажется, по-ихнему, Гейсберг, и укрепились в каком-то замке да столько перебили этих свиней!.. Они взлетали на воздух; любо-дорого было глядеть, как они падают и утыкаются рылом в землю... Что тут поделаешь? Приходили все новые да новые, десять человек на одного, и пушек видимо-невидимо! В таких делах смелость годится только на то, чтобы тебя убили. Словом, заварилась такая каша, что пришлось убираться... И все-таки опростоволосились наши офицеры! Вот уж простофили так простофили, правда, Пико?

Все помолчали. Пико, высокий солдат, выпил залпом стакан белого вина, вытер рот рукой и ответил:

– Конечно... То же самое было под Фрешвиллером: надо быть круглым дураком, чтобы сражаться в таких условиях. Так сказал наш капитан, а он сметливый... Нам-то знать ничего не полагалось. На нас навалилась целая армия этих скотов, а у нас не было и сорока тысяч... Мы не ожидали, что в тот день придется сражаться; сражение завязалось мало-помалу; говорят, начальство не хотело... Словом, я, конечно, видел не все. Но я хорошо знаю только одно: вся эта музыка началась сызнова и продолжалась с утра до вечера, и, когда решили, что она кончилась, оказалось: какой там конец! Опять поднялась кутерьма, да еще какая!.. Сначала в Верте. Это славная деревушка с забавной колокольней, похожей на печку: она выложена изразцовыми плитами. Не знаю, какого черта нам приказали оставить Верт утром: ведь потом мы в лепешку разбивались, чтобы опять занять его, и ничего не выходило. Эх, ребята! Как там дрались, сколько распороли животов и расквасили голов, прямо диву даешься!.. Потом дело заварилось вокруг другой деревни, Эльзасгаузен (такое название, что можно язык сломать). Нас обстреливало невесть сколько пушек; они бухали с проклятого холма сколько им было угодно; его мы тоже оставили утром. И тогда я увидел... да, своими глазами увидел атаку кирасир. Сколько их перебили, бедняг! Прямо было жалко, что бросили людей и коней на такой участок: косогор, кустарники, овраги! Тем более что это не помогло, черт подери! Ну да все равно, зато поработали, молодцы! Сердцу становилось теплей... Казалось бы, лучше всего отойти, передохнуть, правда? Деревня горела как спичка; в конце концов нас окружили баденцы, вюртемб-

ержцы, пруссаки – вся банда, больше ста двадцати тысяч этих сволочей, мы потом подсчитали. Да не тут-то было! Вся музыка загрела опять еще громче, вокруг Фрешвиллера! Ведь, по совести говоря, Мак-Магон, может быть, и простофиля, но храбрец. Надо было видеть, как он сидел на своем рослом коне, под снарядами! Другой бы сбежал с самого начала и считал бы, что не стыдно отказаться от боя, когда не хватает силенок. А он решил: раз началось, надо биться до конца. И уж получил сполна!.. Да, под Фрешвиллером убивали друг друга уже не люди, а дикие звери. Почти два часа в речках текла кровь... А потом, потом – что ж, пришлось все-таки повернуть оглобли. И подумать, что нам рассказывали, будто на левом фланге мы опрокинули баварцев! Накажи меня бог! Будь у нас тоже сто двадцать тысяч человек! Будь у нас пушки да не такие простофили-начальники!

Кутар и Пико никак не могли прийти в себя от ярости и отчаяния. Не снимая изодранных шинелей, серых от пыли, они нарезали хлеб, глотали огромные куски сыра и, сидя в этой красивой беседке, увитой гроздьями спелого винограда, пронзенного золотыми стрелами солнца, продолжали рассказывать, вспоминая ужасы пережитого. Теперь они говорили о потерпевших страшное поражение, отброшенных, разложившихся, изголодавшихся войсках, бежавших через поля, по большим дорогам, где неслась лавина людей, коней, подвод, пушек, – вся разгромленная, разбитая армия, подхлестываемая бешеным вихрем паники. Если она не могла осторожно отступить и запереть проходы через Вогезские горы, где десять тысяч человек остановили бы сто тысяч неприятельских войск, надо было, по крайней мере, взорвать мосты, засыпать туннели. Но генералы испуганно скакали прочь, и веяла такая буря ужаса, унося и побежденных и победителей, что на мгновение обе армии заблудились и потеряли одна другую в этом слепом преследовании среди бела дня; Мак-Магон бежал к Люневиллю, а прусский кронпринц искал его на дороге к Вогезам. Седьмого числа остатки 1-го корпуса прошли через Саверн, как вышедшая из берегов илистая река, катящая обломки и отбросы. Восьмого, под Саарбургом, 5-й корпус влился в 1-й, как неистовый поток в поток, тоже спасаясь бегством, разбитый до битвы, увлекая за собой своего начальника – генерала де Файи, растерянного, обезумевшего от страха, что его обвинят в бездеятельности и возложат на него ответственность за поражение. Девятого и десятого числа бегство продолжалось; каждый спасал свою шкуру и улепetyвал без оглядки. Одиннадцатого, под проливным дождем, неслись к Байону, чтобы обойти Нанси: распространился ложный слух, что этот город захвачен неприятелем. Двенадцатого расположились в Гаруэ, тринадцатого в Вишре, а четырнадцатого прибыли в Нефшатель; там эта лавина докатилась до железной дороги, и в три часа дня всех погрузили в поезда и повезли в Шалон. Через двадцать четыре часа после отхода последнего поезда явились пруссаки.

– Эх, проклятая судьба, – сказал Пико. – Ну и пришлось поработать ногами!.. А нас-то оставили в госпитале!

Кутар вылил остатки вина в свой стакан и в стакан товарища.

– Да, схватили мы шапку в охапку и вот бежим еще и теперь... Ну да сейчас все-таки лучше: можно выпить стаканчик за здоровье тех, кому не разбили морду.

Тут Морис понял. После нелепой неожиданности под Виссенбургом поражение под Фрешвиллером было словно внезапный удар молнии, и ее зловещее сверканье ясно обнаружило страшную правду. Мы плохо подготовились: у нас была посредственная артиллерия, ложные данные о наличном составе войск, неспособные генералы, а столь презираемый нами противник оказался крепким, сильным, бесчисленным, установившим великолепную дисциплину и выработавшим отличную тактику. Слабый заслон из наших семи корпусов, разбросанных между Мецем и Страсбургом, был прорван тремя прусскими армиями, как мощными клиньями. Мы сразу остались в одиночестве: ни Австрия, ни Италия не придут на помощь; план императора рухнул вследствие медлительности действий и неспособности военачальников. Сама судьба была против нас, нагромождая препятствия, неблагоприятные совпадения, осуществляя тайный замысел пруссаков: рассеять надвое наши армии, отбросить часть их к Мецу,

чтобы отрезать от Франции, и, уничтожив остатки, двинуться на Париж. Теперь это обнаруживалось с математической точностью; нас должны победить при всех обстоятельствах, неизбежные последствия которых становились явными: это – столкновение безрассудной отваги с численным превосходством и холодным расчетом. Сколько бы ни спорили об этом в будущем, поражение все-таки неотвратимо, как закон тех сил, которые правят миром.

Вдруг задумчивый, блуждающий взор Мориса упал на высокую желтую стену, и Морис опять прочел начертанные углем слова: «Да здравствует Наполеон!» И тут же почувствовал нестерпимую боль, жгучий укол, пронзивший сердце. Неужели это правда? Неужели Франция, которая одержала баснословные победы и прошла с барабанным боем через всю Европу, с первого удара побеждена маленьким, презренным народцем? За какие-нибудь пятьдесят лет мир преобразился: вечные победители потерпели страшное поражение. И Морис вспомнил все, что говорил ему зять, Вейс, в тревожную ночь под Мюлузом. Да, только он один предвидел это, угадывал скрытые, медленно действующие причины нашего упадка, чувствовал новый ветер молодости и силы, который веет из Германии. Значит, кончается одна воинственная эпоха и начинается другая? Горе народу, который останавливается в своем движении! Победа за теми, кто оказался впереди, за теми, кто искусней, здоровей, сильнее!

В эту минуту послышался смех, крики, как будто кто-то насильно целовал девушку, а она притворно сопротивлялась. Это лейтенант Роша в старой, закопченной кухне, украшенной лубочными картинками, обнимал красивую служанку, как полагается солдату-завоевателю. Он вошел в беседку, куда ему принесли кофе; услышав последние слова Кутара и Пико, он весело сказал:

– Чего там, ребята, все это глупости! Это только начало! Вы еще увидите, как мы им здорово отплатим!.. Черт возьми! До сих пор их было пятеро против одного. Но теперь дело повернется по-другому, уж будьте благонадежны!.. Нас здесь триста тысяч. Все наши непонятные передвижения мы производим для того, чтобы заманить сюда пруссаков, а Базен за ними следит и ударит им в тыл... Тогда мы их прихлопнем – хлоп! – как эту муху.

Звонким ударом он на лету раздавил между ладонями муху, засмеялся еще громче, еще веселей и всем своим простодушным существом поверил в этот легкий план так же, как верил в непобедимую силу отваги. Он приветливо указал обоим солдатам точное местонахождение их полка, потом, счастливый, закурил сигару и сел за чашку кофе.

– Это я, товарищи, должен вас благодарить за доставленное мне удовольствие! – ответил Морис на прощание Кутару и Пико, которые, уходя, поблагодарили его за сыр и вино.

Он тоже заказал чашку кофе и смотрел на лейтенанта Роша, ободрившись, но все-таки удивился, что лейтенант назвал цифру в триста тысяч человек, когда на самом деле их было не больше ста тысяч, и собирается так легко раздавить пруссаков между Шалонской армией и армией, стоящей под Мецем. Но Морис тоже нуждался в призрачной надежде! Почему же не надеяться, когда славное прошлое все еще оглушительно гремит в памяти? Старый кабачок казался таким веселым, беседка была увита золотящимся на солнце светлым виноградом Франции! Морис снова на мгновение успокоился, вопреки глухой, глубокой печали, мало-помалу нараставшей в нем.

Вдруг он заметил офицера из африканских стрелковых полков, который в сопровождении ординарца проехал рысью верхом на коне и исчез за углом молчаливого дома, где жил император. Скоро ординарец вернулся уже один, ведя на поводу коней, и остановился у входа в кабачок; Морис с удивлением воскликнул:

– Проспер!.. А я-то думал, что вы в Меце!

Проспер, житель Ремильи, был простым батраком; Морис знал его с детства, когда приезжал на каникулы к дяде Фушару. Проспер вытянул жребий и уже три года служил в Африке, как вдруг разразилась война.

На нем была светло-голубая куртка, широкие красные штаны с голубыми лампасами и красный шерстяной пояс; длиннолицый, сухощавый, гибкий, сильный и необыкновенно ловкий, он дышал здоровьем.

– Вот так встреча!.. Господин Морис!

Но Проспер не торопился подойти, отвел взмысленных лошадей в конюшню, окидывая особенно отеческим взором свою лошадь. Он полюбил лошадей, наверно, еще в детстве, когда водил их на пахоту; поэтому и поступил в кавалерию.

– Мы приехали из Монтуа, – сказал он, вернувшись, – больше десяти миль в один перегон; теперь Зефир охотно поест.

Зефиром звали его коня. Проспер отказался закусить и согласился только выпить кофе. Он дожидался своего командира, а тот ждал императора... Это могло продолжаться пять минут, а может быть, и два часа. Вот командир и приказал ему поставить коней куда-нибудь в тень. Морис стал любопытствовать, пытался узнать, в чем дело, но Проспер неопределенно развел руками:

– Не знаю... Наверно, поручение... Передать бумаги.

Роша с умилением смотрел на стрелка, который вызывал в нем воспоминания об Африке.

– Эй, голубчик, где вы там были?

– В Медеа, господин лейтенант!

Медеа! Они разговорились, сблизившись, вопреки неравенству в чинах. Проспер привык к жизни в Африке, к постоянным тревогам, – не слезаешь с коня, идешь в бой, как на охоту, готовишь крупную облаву на арабов. Отделение в шесть человек пользовалось одним котлом; и каждое отделение было семьей: один варил пищу, другой стирал белье, третий устанавливал палатку, четвертый ухаживал за лошадьми, пятый чистил оружие. Утром и днем скакали, нагруженные огромной поклажей, под палящим солнцем, а вечером, чтоб отогнать mosquitos, разводили большой костер и вокруг него пели французские песни. Часто в светлую ночь, усыпанную звездами, приходилось вставать и умирять коней: подхлестываемые теплым ветром, они вдруг принимались кусать друг друга и с неистовым ржанием рвали путы. А кофе, чудесный кофе! Зерна давили прикладами на дне котелка и процеживали сквозь широкий красный кушак – то было особо важным делом! Но бывали и черные дни, вдали от населенных пунктов, на виду у неприятеля. Тогда уж ни огня, ни песен, ни выпивок! Иногда жестоко страдали от бессонных ночей, от жажды, от голода. И все-таки они любили это существование, полное неожиданностей и приключений, эти вечные стычки, где можно блеснуть собственной храбростью, занимательные, как завоевание дикого острова, эту войну, оживляемую набегам – крупным воровством и мародерством, мелкими кражами хапунов, невероятные проделки которых смешили даже генералов.

– Да, – сказал мрачно Проспер, – здесь не так, здесь воюют по-другому.

И в ответ на новый вопрос Мориса он рассказал, как они высадились в Тулоне, долго и тягостно ехали до Люневилля. Там-то они и узнали о Виссенбурге и Фрешвиллере. Дальше он уже ничего не знал; он смешивал города от Нанси до Сен-Миеля, от Сен-Миеля до Меца. Четырнадцатого там, наверное, произошло крупное сражение: небо было в огне; но Проспер видел только четырех улан за изгородью, и ему сказали, что восемнадцатого опять началась та же музыка, только еще страшней. Однако стрелков там больше не было: в Гравелоте они ждали на дороге приказания вступить в бой, но император, удирая в коляске, велел им сопровождать его до Вердена. Нечего сказать, приятная скачка – сорок два километра галопом, да еще под страхом наткнуться в любую минуту на пруссаков!

– А Базен? – спросил Роша.

– Базен? Говорят, он был рад-радешенек, что император оставил его в покое.

Лейтенант хотел узнать, прибудет ли Базен. Проспер пожал плечами: кто его знает? С шестнадцатого числа они проводили целые дни в маршах и контрмаршах, под дождем ходили

в разведку, находились в заставах, да так и не встретили неприятеля. Теперь они часть Шалонской армии. Полк Проспера, два полка французских стрелков и один гусарский составляют одну из дивизий резервной кавалерии, первую дивизию под командой генерала Маргерита, о котором он говорил с восторгом и нежностью.

– Ну и молодец! Вот это орел! Да что толку? Ведь до сих пор нас заставляли только месить грязь!

Они помолчали. Морис заговорил о Ремильи, о дяде Фушаре, и Проспер пожалел, что не может повидать артиллериста Оноре, батарея которого стоит, наверно, в миле с лишним отсюда по ту сторону дороги в Лаон. Услыша фыркание коня, он насторожился, встал и пошел посмотреть, не нужно ли чего-нибудь Зефиру. Мало-помалу в кабачок набились военные всех родов оружия и всех чинов, то был час, когда пьют маленькую чашку кофе и рюмочку рома. Не осталось ни одного свободного столика, и среди листьев дикого винограда, обрызганного солнцем, весело засверкали мундиры. К лейтенанту Роша подсел военный врач Бурош, как вдруг явился Жан с приказом:

– Господин лейтенант, капитан будет ждать вас по служебным делам в три часа.

Роша кивнул головой в знак того, что придет вовремя; но Жан ушел не сразу и улыбнулся Морису, который закуривал папиросу. Со дня скандала в вагоне между ними было заключено молчаливое перемирие, они словно присматривались друг к другу, все благосклонней.

Проспер вернулся и с нетерпением сказал:

– Я поем, пока мой начальник не выйдет из этого домишка... Дело дрянь! Император, пожалуй, вернется только вечером.

– Скажите, – спросил Морис с возрастающим любопытством, – может быть, вы привезли известия о Базене?

– Возможно... Об этом говорили там, в Монтуа.

Вдруг все зашевелились. Жан, стоявший у входа в беседку, обернулся и сказал:

– Император!

Сидевшие тотчас же вскочили. Между тополей, на широкой белой дороге, сверкая золотым солнцем кирас, показался взвод лейб-гвардейцев в чистых блестящих мундирах. За ними открылось свободное пространство, и появился на коне император в сопровождении штаба, за которым следовал второй взвод лейб-гвардейцев.

Все обнажили головы; раздалось несколько приветственных кликов. Император, проезжая, поднял голову; он был бледен, лицо у него вытянулось, мутные, водянистые глаза мигали. Казалось, он очнулся от дремоты; он отдал честь и, при виде залитого солнцем кабачка, слабо улыбнулся.

Тогда Жан и Морис отчетливо услышали, как за их спиной, оглядев императора зорким глазом врача, Бурош проворчал:

– Ясно, у него зловарный камень в печени.

И коротко прибавил:

– Каюк!

Жан, понимая все только чутьем, покачал головой: такой главнокомандующий – несчастье для армии! Через несколько минут Морис, довольный хорошим завтраком, попрощался с Проспером и пошел прогуляться; покуривая, он все еще вспоминал бледного, безвольного императора, проехавшего рысцой на своем коне. Это заговорщик, мечтатель, у которого не хватает решимости в такие минуты, когда надо действовать. Говорили, что он очень добр, способен на великодушные чувства, к тому же очень упрям в своих желаниях – желаниях молчаливого человека; он очень храбр, презирает опасность, как фаталист, всегда готовый подчиниться неизбежности. Но он как бы цепенеет в часы великих катастроф, словно парализован при известии о совершившихся событиях, бессилен бороться с судьбой, если она против него. И Морис подумал: не есть ли это особое физиологическое состояние, вызванное болями, не

является ли несомненная болезнь императора причиной нерешительности, все более обнажающейся бездарности, которая сказывается в нем с самого начала войны. Этим объясняется все. Один камешек в теле человека – и рушится целая империя.

Вечером, после переключки, в лагере внезапно поднялась суматоха: офицеры засуетились, передавали приказы, назначали выступление на следующее утро, в пять часов. Морис вздрогнул от удивления и тревоги, поняв, что все опять изменилось: больше не отступают к Парижу, а идут на Верден, навстречу Базену. Пронесся слух, будто от Базена получена днем депеша с известием, что он отступает; и Морис подумал, что командир Проспера, офицер африканского стрелкового полка, может быть, привез копию именно этой депеши. Значит, императрица-регентша и совет министров воспользовались вечной неуверенностью маршала Мак-Магона, одержали верх и, опасаясь, что император вернется в Париж, решили толкнуть армию вперед, наперекор всему, в последней попытке спасти династию. И вот жалкого императора, этого несчастного человека, которому больше нет места в его империи, увезут, как ненужный, лишний выюк в обозах армии, и он будет осужден таскать за собой, словно в насмешку, свою императорскую штаб-квартиру, свой конвой, поваров, лошадей, кареты, коляски, фургоны с серебряными кастрюлями и бутылками шампанского, свою пышную мантию, усеянную пчелами, волочащуюся в крови и грязи по большим дорогам поражений.

В полночь Морис еще не спал. Мучаясь лихорадочной бессонницей, перемежающейся тяжелыми снами, он ворочался в палатке с боку на бок. Наконец он встал, вышел и почувствовал облегчение, впивая под порывами ветра свежий воздух. Небо покрылось тяжелыми тучами, ночь стала совсем темной, простираясь суровым, безмерным мраком, в котором редкими звездами мерцали последние потухающие огни передовых линий. И в этом черном покое, словно подавленном тишиной, слышалось медленное дыхание ста тысяч спящих солдат. Тогда утихли волнения Мориса, в его сердце зародилось чувство братства, полное снисходительной нежности ко всем этим живым уснувшим существам; ведь тысячи из них скоро заснут последним сном. Хорошие все-таки люди! Конечно, они совсем недисциплинированны, они воруют и пьют. Но сколько человеческого страдания и сколько смягчающих обстоятельств в этом крушении целого народа! Славных ветеранов Севастополя и Сольферино уже немного; они влились в ряды слишком юных солдат, неспособных на длительное сопротивление. Четыре корпуса, сформированные и пополненные наспех, не объединенные прочной связью, – армия отчаяния, жертвенное стадо, которое посылают на заклание, чтобы попытаться смягчить гнев судьбы. Они пойдут по мученическому пути до конца, заплатят за общие ошибки алыми ручьями своей крови, достигнут величия в самом ужасе бедствия.

И в этот час, в глубинах трепетной тьмы, Морис осознал великий долг. Он больше не поддавался хвастливой надежде на баснословные победы. Поход на Верден – это был поход навстречу смерти; и он радостно, твердо примирился с мыслью, что надо погибнуть.

IV

Во вторник, 23 августа, в шесть часов утра, стотысячная Шалонская армия снялась с лагеря и вскоре разлилась огромным потоком, как живая река, на мгновение ставшая озером и текущая дальше; вопреки слухам, которые пронеслись накануне, многие солдаты с великим удивлением убедились, что, вместо того чтобы продолжать отступление, они поворачиваются спиной к Парижу и направляются на восток, в неизвестность.

В пять часов утра 7-й корпус еще не получил патронов. Уже два дня артиллеристы выбивались из сил, выгружая лошадей и орудия на станции, заваленной всякого рода запасами, которые в изобилии прибывали из Меца. Только в последнюю минуту вагоны с патронами были обнаружены в непроходимой путанице составов, и посланная на выгрузку рота, в которой находился и Жан, доставила в лагерь двести сорок тысяч патронов в спешно реквизированных

повозках. Жан роздал солдатам своего отделения по сто патронов на каждого, как полагается по уставу, и в эту самую минуту ротный горнист Год подал сигнал к выступлению.

Сто шестой полк не должен был проходить через Реймс; приказано было обогнуть город и выйти на большую Шалонскую дорогу. Но и на этот раз начальство не потрудились установить расписание часов, так что все четыре корпуса выступили одновременно, и при выходе на первые участки общих дорог произошла полная неразбериха. Артиллерия и кавалерия ежеминутно рассекали и останавливали ряды пехоты. Целые бригады были вынуждены битый час неподвижно стоять под ружьем. В довершение всего уже через десять минут после выступления разразилась страшная гроза – такой ливень, что все промокли до нитки, а ранцы и шинели стали еще больше оттягивать плечи. Когда дождь перестал, 106-й полк наконец тронулся в путь, а на соседнем поле зуавы, вынужденные ждать еще дольше, затеяли игру, чтобы не было так скучно: они принялись бросать друг в друга комками грязи и громко хохотали, забрызгивая шинели.

Скоро в это августовское утро опять показалось солнце, торжествующее солнце. И люди снова повеселели; от них шел пар, как от выстиранного белья, развешанного на дворе; они быстро просохли и были похожи на перепачканных псов, которых вытащили из лужи; солдаты смеялись над комьями затвердевшей грязи, прилипшей к красным штанам. На каждом перекрестке приходилось вновь останавливаться. В самом конце предместья Реймса остановились в последний раз перед кабачком, полным народом.

Морис решил угостить отделение и предложил выпить за здоровье всех.

– Капрал! Если позволите...

После минутного колебания Жан согласился выпить стаканчик. Здесь были Лубе и Шуто, скрытный и почтительный с тех пор, как Жан показал ему свои когти; были и Паш с Лапулем, славные ребята в те дни, когда им не дурили голову.

– За ваше здоровье, капрал! – хитрым тоном сказал Шуто.

– За ваше! Пусть все постараются вернуться с головой и ногами! – вежливо ответил Жан, и все одобрительно засмеялись.

Надо было снова шагать. Подошел капитан Бодуэн, по-видимому возмущенный, но лейтенант Роша намеренно отворачивался, снисходительно разрешая солдатам выпить. Уже вышли на Шалонскую дорогу; то была бесконечная дорога, обсаженная деревьями, прямая, как стрела, пролежавшая по огромной равнине, среди нескончаемых сжатых полей, где торчали высокие стога и махали крыльями деревянные мельницы. Дальше на север ряды телеграфных столбов отмечали другие дороги, где двигались черные линии других полков. Впереди, слева, под ослепительным солнцем, шла на рысях кавалерийская бригада. И весь пустынный горизонт, всю эту печальную, безмерную пустоту оживляли, заполняли исторгающиеся отовсюду потоки людей, неисчерпаемые муравьиные полчища.

К девяти часам 106-й полк свернул с Шалонской дороги налево, в сторону Сюиппа. Она тоже тянулась бесконечной прямой чертой. Двигались двумя колоннами, на известном расстоянии одна от другой, оставляя середину дороги свободной: по ней шли только офицеры. Морис заметил, что они озабочены; не в пример им, солдаты были настроены хорошо, веселились, как дети, радуясь, что наконец выступили. Отделение Жана шагало почти во главе полка. Морис заметил издали полковника де Винейля и удивился его мрачной осанке, высокому прямому стану, который покачивался в лад движению коня. Музыканты шли в арьергарде вместе с полковой кухней. За ними, сопровождая дивизию, следовали санитарные повозки и обоз, а позади огромный транспорт всего корпуса: повозки с фуражом, закрытые фургоны с продовольствием, возки с поклажей, целая вереница всевозможных повозок, которая растянулась на пять с лишним километров; ее бесконечный хвост показывался только на редких поворотах дороги. А на другом конце колонну замыкали огромные стада крупных волов, которые брели в

клубах пыли, – мясо, приводимое в движение бичами, еще живое мясо, предназначенное для пропитания воинственного кочующего племени.

Время от времени Лапуль движением плеча приподнимал спускавшийся ранец. Под предлогом, что он сильнее всех, его нагружали утварью, принадлежащей всему отделению, – большим котлом и бидоном для воды. На этот раз ему дали даже ротную лопату, убедив его, что нести ее – великая честь. И он не жаловался; он весело слушал песню, которой тенор отделения, Лубе, развлекал товарищей во время длинного перехода. У Лубе был знаменитый ранец, в котором можно было найти все: белье, запасные башмаки, нитки, иголки, щетки, шоколад, столовый прибор и оловянную тарелочку, не считая обязательного по уставу довольствия – сухарей, кофе; и, хотя в ранце лежали и патроны и на ранце – скатанная шинель, палатка и колышки от нее, – все это казалось ему легким, он умел, по его выражению, «хорошо укладывать вещи в свой сундучок».

– Все-таки гиблый край! – время от времени повторял Шуто, бросая презрительный взгляд на мрачные равнины убогой Шампани.

Широкие однообразные меловые пространства тянулись до бесконечности. Ни фермы, ни одной живой души, только стая ворон, мелькающих черными пятнами в серых далях. Налево, далеко-далеко, гибкие извивы холмов на краю неба увенчивались темно-зелеными сосновыми лесами; справа, по непрерывной аллее деревьев, можно было угадать течение реки Бель. А за холмами, в миле оттуда, поднимался огромный столб дыма, и густые клубы совсем заволакивали горизонт страшной огненной тучей.

– Что там горит? – спрашивали отовсюду. Из конца в конец колонну облетел ответ: это горит уже два дня Шалонский лагерь, подожженный по приказу императора, чтобы не достались пруссакам собранные там запасы. Кавалерии арьергарда, по слухам, было поручено поджечь большой барак, прозванный «желтым складом», полный палаток, колышков, циновок, и новый склад – огромный запертый сарай, где громоздились котелки, башмаки, одеяла – все, чем можно было снабдить еще сто тысяч человек. Стога сена тоже были подожжены и пылали, как огромные факелы. И при этом зрелище, под этими свинцовыми вихрями, которые вырывались из-за далеких холмов, облекая небо в безнадежный траур, армия, шагавшая по широкой печальной равнине, погрузилась в тяжелое молчание. На залитой солнцем дороге слышался только топот ног; солдаты невольно оборачивались и смотрели на разрастающийся дым, а зловещая туча следовала за колонной еще целый час.

Настроение поднялось на большой стоянке среди сжатого поля; сели на ранцы, чтобы закусить. Макали в суп большие квадратные сухари, а маленькие, круглые, хрустящие, легкие были настоящим лакомством; однако у них был один недостаток: они вызывали нестерпимую жажду. По просьбе товарищей Паш запел духовную песню, и все отделение хором подхватило ее. Жан добродушно улыбался и не мешал; Морис почувствовал себя уверенней, видя, как все бодры, какой везде порядок и веселье в первый день похода. Остальную часть пути прошли тем же молодецким шагом. Но последние восемь километров двигались с трудом. Обогнули справа деревню Прон, сошли с большой дороги, чтобы пересечь напрямик дикие места, песчаные пустоши, покрытые сосновыми лесками; и вся дивизия с бесконечным обозом пробиралась сквозь леса, в песках, где ноги увязали по щиколотку. Пустыня стала еще шире, встретилось только жалкое стадо баранов под охраной большого черного пса.

Наконец к четырем часам 106-й полк остановился в деревне Донтриен, на берегу реки Сюипп. Эта маленькая речонка протекает между деревьев. Посреди кладбища, целиком покрытого тенью огромного каштана, – старая церковь. На отлогом левом берегу, на лужке, полк разбил палатки. Офицеры говорили, что четыре армейских корпуса в этот вечер расположатся бивуаком на рубеже реки Сюипп, которая проходит от Оберива до Гетреживиля через Донтриен, Бетинвиль и Пон-Фаверже, по фронту протяжением приблизительно в пять миль.

Горнист Год сейчас же подал сигнал к раздаче довольствия, и Жану пришлось побегать: он был отличным, расторопным добытчиком. Капрал взял с собой Лапуля; через полчаса они вернулись с кровотоющим бычьим боком и вязанкой хвороста. Под дубом уже убили и разрезали на части трех быков из полкового стада. Лапулю поручили пойти за хлебом, который с двенадцати часов дня пекли в самом Донтриене, в деревенских избах. И в этот первый день всего было вдоволь, кроме вина и табаку; впрочем, их и не должны были раздавать.

Вернувшись, Жан увидел, что Шуто с помощью Паша ставит палатку. Он с минуту глядел на них взглядом старого опытного солдата, который видит, что такая работа не стоит ломаного гроша.

– Хорошо еще, что сегодня ночью будет тихая погода, – сказал он наконец, – а то, если бы поднялся ветер, нас снесло бы в реку... Надо вас поучить.

Он хотел послать Мориса с бидоном за водой. Но Морис сидел на траве и разувался, чтобы осмотреть правую ногу.

– Что с вами?

– Да вот подшитый кусок кожи в башмаке натер пятку... Мои старые башмаки износились, и я имел глупость купить в Реймсе эти; они пришлись мне как раз по ноге. Лучше бы я взял номером больше.

Жан стал на колени, поднял ногу Мориса и начал, покачивая головой, осторожно поворачивать, как будто ногу ребенка.

– Знаете, это не шутка... Осторожней! Солдат без ног никуда не годится, его бросают на дороге. В Италии наш капитан всегда говорил, что в сражениях побеждают ноги.

Он послал за водой Паша, река протекала в пятидесяти метрах. А Лубе разжег огонь на дне ямки, которую он выкопал в земле, и сейчас же поставил на него котел с водой, куда он положил искусно перевязанный кусок мяса. И любо было глядеть, как закипает суп. Все солдаты отделения, свободные от работы, растянулись на траве, вокруг огня, словно единая семья, полная нежной заботы об этом мясе; а Лубе торжественно помешивал суп. Как дети и дикари, они жили только одним желанием – поесть и поспать на этом пути в неизвестность, когда нельзя было и думать о завтрашнем дне.

Морис достал в своем ранце газету, купленную в Реймсе. Шуто спросил:

– Есть известия о пруссаках? Прочтите нам!

Солдаты подружились и все больше уважали Жана. Морис любезно прочел интересные известия; Паш, портной отделения, починил ему шинель, Лапуль почистил его ружье. Сначала сообщалось о крупной победе Базена, обратившего в бегство целый прусский корпус в каменистых холмах под Жомоном; эта выдумка была приправлена драматическими происшествиями: среди утесов смешались люди и кони, враги уничтожены, изрублены настолько, что не осталось даже целых трупов для погребения. Потом приводились обильные подробности о жалком состоянии прусских войск, вторгшихся во Францию: солдаты скверно питаются, плохо вооружены, испытывают лишения, поражены страшными болезнями, мрут на дорогах как мухи. В другой статье сообщалось, что у прусского короля понос, что Бисмарк сломал себе ногу, выпрыгнув из окна харчевни, где его чуть не захватили зуавы. Здорово! Лапуль хохотал до упаду, а Шуто и другие, ни минуты не сомневаясь в точности сообщений, чувствовали себя молодцами при мысли, что скоро они изловят пруссаков, как воробьев в поле после града. Солдаты больше всего корчились от смеха, вспоминая, как упал Бисмарк. Да уж, храбрецы эти зуавы и алжирские стрелки! Передавались всяческие басни: Пруссия дрожит и злится, заявляя, что недостойно цивилизованной стране обороняться при помощи дикарей. И хотя французские войска уже были разбиты под Фрешвиллером, казалось, они еще нетронуты и непобедимы.

На маленькой колокольне в Донтриене пробило шесть часов, и Лубе крикнул:

– Обед готов!

Солдаты благоговейно сели в кружок. В последнюю минуту Лубе нашел у крестьянина по соседству овощи. Настоящее угощение: суп, пахнувший морковью и пореем, нечто приятное для желудка, мягкое, как бархат. Ложки бойко застучали по маленьким котелкам. Потом Жан, раздававший пайки, нарезал мясо со строжайшей точностью; у солдат заблестели глаза, и, если бы один кусок оказался больше другого, поднялся бы ропот. Вылакали весь суп. Наелись до отвала!

Шуто кончил, лег на спину и объявил:

– Эх, черт возьми! Это все-таки лучше, чем получать пинки в зад.

Морис тоже чувствовал себя сытым, счастливым и больше не думал о своей ноге: боль успокаивалась. Он уже примирился с этой грубой компанией, уподобился ей, удовлетворяя те же физические потребности. Ночью он тоже спал глубоким сном, как и пятеро его товарищей по палатке; они лежали вповалку и были рады, что им тепло, хотя выпала обильная роса. Надо сказать, что, по наущению Лубе, Лапуль притащил с соседнего стога большие охапки соломы, и все шесть молодцов храпели, зарывшись в нее, как в перину. В светлую ночь от Оберива до Гетреживиля, вдоль пленительных берегов реки Сюипп, медленно протекавшей между ивами, костры ста тысяч спящих солдат озаряли равнину на пять миль, словно россыпь звезд.

На рассвете сварили кофе; зерна истолкли в котелке прикладом ружья и бросили их в кипяток, потом, капнув холодной воды, дали гуще осесть. В то утро восход солнца среди больших пурпурно-золотых облаков был поистине великолепен; но даже Морис не смотрел больше на эти дали и небо, и только Жан, как рассудительный крестьянин, с беспокойством поглядывал на алую зарю, предвещавшую дождь. Поэтому перед отправлением, когда роздали выпеченный накануне хлеб и отделение получило три длинные буханки, Жан выбралил Лубе и Паша за то, что они привязали хлебы к своим ранцам. Но солдаты уже сложили палатки, надели ранцы и Жана не слушали. На всех деревенских колокольнях пробило шесть часов; армия тронулась в путь и бодро зашагала дальше, с надеждой взирая на занявшийся день.

Чтобы выйти на шоссе, которое ведет от Реймса в Вузье, 106-й полк почти сразу двинулся по проселкам и шел полями больше часа. Внизу, к северу, среди деревьев виднелся Бетинвиль, где, по слухам, остановился на ночь император. И когда полк вышел на дорогу в Вузье, опять открылись те же равнины, что и накануне, широко развернулись убогие поля Шампани, такие безнадежно однообразные. Слева показалась мелкая речонка Арна, справа простирались голые равнины без конца и без края, сливаясь своими плоскими очертаниями с горизонтом. Полк прошел деревню Сен-Клеман, где по обеим сторонам дороги извивается единственная улица, и Сен-Пьер – городок, населенный богачами, которые забаррикадировали двери и окна. К десяти часам солдаты сделали привал близ деревни Сент-Этьен, где им посчастливилось найти табуку. 7-й корпус разделился на несколько колонн; 106-й полк шел один; за ним следовал только батальон стрелков и резервная артиллерия. Морис тщетно оборачивался на поворотах дорог, чтоб увидеть огромный обоз, который заинтересовал его накануне: стада исчезли, только пушки, казавшиеся крупней на гладких равнинах, неслись, как мрачная длинноногая саранча.

Но за Сент-Этьеном дорога стала отвратительной; она медленно поднималась волнообразными очертаниями среди широких бесплодных равнин, на которых росли только вечные сосновые леса с черными иглами, печально выделявшиеся на белой земле. Еще никогда солдаты не проходили по таким унылым местам. Плохо вымощенная, размытая недавними дождями дорога была настоящим руслом жидкой грязи, размокшей серой глины, которая прилипала к подошвам, словно смола. Люди страшно устали и больше не могли двигаться вперед. В довершение всего внезапно разразился отчаянный ливень. Артиллерия завязла и чуть не осталась на дороге.

Шуто, который нес пакет риса для всего отделения, задыхаясь под тяжестью груза, в бешенстве бросил его, думая, что никто не видит. Но Лубе заметил.

– Нехорошо! Это что такое? Так не полагается: ведь потом у товарищей будет пусто в брюхе.

– Плевать! – ответил Шуто. – Раз теперь у нас провианта вдоволь, на стоянке нам дадут другого рису.

Лубе, нагруженный салом, согласился с этим доводом и тоже сбросил свою ношу.

У Мориса все больше болела нога; наверно, снова началось воспаление. Он хромал так мучительно, что Жан заботливо спросил:

– Ну как? Дело не клеится? Опять схватило?

Когда солдаты остановились, чтобы передохнуть, Жан дал Морису добрый совет:

– Разуйтесь и идите босиком! От свежей грязи вам станет легче.

И правда, босиком Морис без особого труда пошел дальше; его охватило глубокое чувство благодарности. Отделению прямо повезло – иметь такого капрала: он уже побывал на войне, знал свое дело во всех тонкостях; конечно, он неотесанный крестьянин, но все-таки славный парень.

Пройдя дорогу от Шалона до Вузье и спустившись по крутому склону в Семидскую долину, солдаты поздно вечером пришли на бивуаки в Контрев. Тут местность была уже другая – Арденны. С возвышающихся над деревней голых холмов, выбранных для стоянки 7-го корпуса, издали виднелась долина Эны, утопавшая в бледной дымке ливня.

В шесть часов горнист Год еще не подавал сигнала к раздаче довольствия. Тогда Жан, желая чем-нибудь заняться и к тому же заметив, что поднимается ветер, решил сам поставить палатку. Он показал солдатам, как надо выбирать слегка отлогое место, как вбивать наискось колья, рыть вокруг палатки канаву, чтобы стекала вода. У Мориса все еще болела нога, и его освободили от всякой работы; он только смотрел, удивляясь ловкости и уму этого неуклюжего толстяка. Он чувствовал себя разбитым от усталости, но его поддерживала надежда, воскресшая во всех сердцах. От Реймса они здорово шли: шестьдесят километров в два приема! Если и дальше пойдут тем же шагом и все прямо, они, без сомнения, опрокинут вторую прусскую армию и соединятся с армией Базена, прежде чем третья армия под командованием прусского кронпринца, которая, по слухам, находится в Витри-ле-Франсе, успеет подойти к Вердену.

– Как? Подыхать с голоду, что ли? – спросил Шуто, видя, что еще ничего не раздают.

Жан предусмотрительно приказал Лубе развести огонь и поставить котелок с водой. Хворосту не было, и Жану пришлось закрыть глаза на то, что Лубе попросту сорвал на дрова плетень соседнего сада. Но когда Жан сказал, что надо сварить рис с салом, Лубе был вынужден сознаться, что рис и сало остались в грязи на дороге за Сент-Этьеном. Шуто нагло врал, клялся, что пакет, наверно, отвязался от ранца, а он и не заметил.

– Эх вы, свиньи! – в бешенстве заорал Жан. – Бросить еду, когда у наших бедных парней пусто в брюхе!

Такая же история произошла с тремя хлебами, привязанными к ранцам: Жана не послушали, и ливень намочил их так, что они размокли, превратились в кашу, и теперь их нельзя было взять в рот.

– Хороши мы теперь, нечего сказать! – повторил Жан. – У нас было все, а теперь нет ни крохи... Свиньи вы, настоящие свиньи!

Тут как раз подали сигнал, что сержант несет распоряжение; подошел сержант Сапен и уныло объявил солдатам, что никакой раздачи не будет, придется довольствоваться походными запасами. По его словам, обоз застрял в дороге из-за дурной погоды, а скот, наверно, не туда загнали вследствие противоречивых приказов. Позже узнали, что 5-й и 13-й корпуса направились в тот день опять к Ретелю, где должна была расположиться штаб-квартира и куда прибывают из деревень все припасы, а также жители, жаждущие увидеть императора; поэтому перед приходом 7-го корпуса весь край был уже опустошен: ни мяса, ни хлеба, ни самих жителей. В довершение всех бед, по недоразумению, провиант интендантства отправлен в Шен-Попюле.

В течение всего похода несчастные интенданты то и дело впадали в отчаяние: солдаты их проклинали, а между тем вся их вина часто состояла только в том, что они в назначенное время являлись в назначенное место, а войска туда не приходили.

– Свиньи поганые! – вне себя повторил Жан. – Так вам и надо! Вы не стоите того, чтоб я добывал для вас еду, но все-таки моя обязанность – не дать вам подохнуть в дороге с голоду.

Он отправился на поиски, как должен поступать каждый хороший капрал, и взял с собой Паша, которого любил за кротость, хотя считал, что тот помешался на попах.

Но Лубе уже заметил в двухстах – трехстах шагах маленькую ферму, один из последних домишек в Контреве; там, казалось ему, шла бойкая торговля. Он подозвал Шуто и Лапуля и предложил:

– Махнем-ка туда! Наверно, там есть всякая всячина.

Мориса оставили следить за котелком с кипящей водой и велели поддерживать огонь. Он сел на одеяло и разулся, чтобы ранка на ноге подсохла. Он с любопытством разглядывал лагерь; не ожидая больше раздачи, солдаты всех отделений разбежались кто куда. Морису стало ясно, что некоторым солдатам нечего есть, а другим всегда живется сытно. Это зависит от предусмотрительности и ловкости капрала и самих солдат. В неимоверной толчее, запутавшись среди палаток и пирамид ружей, некоторые солдаты не могли даже развести костер; другие примирились с голодом и улеглись спать; третьи, наоборот, жадно ели неизвестно что, но что-то вкусное. Мориса поразило еще другое зрелище: на холме в образцовом порядке расположилась резервная артиллерия; на закате, между двух туч, показалось солнце и озарило пушки, с которых артиллеристы уже смыли дорожную грязь.

Между тем на ферме, облюбованной Лубе и его товарищами, удобно расположился командир бригады генерал Бурген-Дефейль. Он нашел здесь сносную кровать, сел за стол, принялся за яичницу и жареного цыпленка и поэтому был отлично настроен; по мелкому служебному делу к нему зашел полковник де Винеиль, и генерал предложил ему пообедать. Итак, они ели, а подавал им белокурый верзила, который только три дня тому назад поступил на службу к фермеру и объяснил, что он эльзасец, беженец, попавший сюда после разгрома под Фрешвиллером. Генерал говорил свободно в присутствии этого человека, толковал о передвижении армий, расспрашивал его о дороге и расстояниях, забывая, что собеседник не уроженец Арденн. В этих вопросах обнаруживалось такое невежество, что полковник наконец встревожился. Когда-то он жил в Мезьере. Он дал несколько точных указаний, и у генерала вырвался крик:

– Да это идиотство! Как прикажете воевать, когда не знаешь местности?

Полковник безнадежно махнул рукой. Он знал, что при объявлении войны всем офицерам роздали карты Германии, но ни у кого из них не было карт Франции. Все, что он видел и слышал за последний месяц, приводило его в отчаяние. Он отличался только храбростью, был известен как несколько слабовольный и ограниченный командир, и в полку его больше любили, чем боялись.

– Нельзя даже поесть спокойно! – вдруг воскликнул генерал. – Чего они там орут? Эльзасец, узнайте, в чем дело.

Явился фермер; он потрясал кулаками, рыдал и проклинал всех на свете. Его грабят, стрелки и зуавы разоряют его дом. Сначала он имел неосторожность начать торговлю: ведь у него одного в целой деревне были яйца, картошка, кролики. Он их продавал, не очень обворовывая покупателей, клал деньги в карман, отпускал товар; но солдаты все прибывали, они окружили его, оглушили криками и в конце концов затолкали и забрали все бесплатно. За время похода многие крестьяне прятали запасы, отказывали даже в стакане воды из страха перед неотразимым нашествием солдат, которые захватывали дома и выгоняли хозяев на улицу.

– Э, голубчик, оставьте меня в покое! – недовольно ответил генерал. – Таких негодяев надо было бы расстреливать по десятку в день. А разве это мыслимо?

Он приказал запереть дверь, чтобы не пришлось принять крутые меры, а полковник объяснил крестьянину, что в этот день не было раздачи довольствия и солдаты проголодались.

Лубе заметил картофельное поле и вместе с Лапулем бросился туда; они принялись шарить обеими руками, выкапывали картофель и набивали себе карманы. Шуто глядел на что-то поверх низкой ограды и вдруг призывно засвистел; товарищи прибежали и радостно вскрикнули: по тесному дворику прогуливалось стадо великолепных гусей! Солдаты посоветовались и убедили Лапуля перелезть через ограду. Произошла настоящая стычка: гусь, которого он поймал, чуть не оттяпал ему нос крепким, как ножницы, клювом. Тогда Лапуль схватил его за шею и хотел задушить, но гусь бил сильными лапами по рукам и животу. Лапулю пришлось разбить ему кулаком голову, а гусь все еще трепыхался. Лапуль бежал, преследуемый всем стадом; гуси щипали его за ноги.

Все три товарища вернулись, спрятав гуся в мешок с картошкой, и встретили Жана и Паша, которые возвращались тоже довольные, нагруженные сыром и четырьмя свежими хлебами, купленными у какой-то доброй старушки.

– Вода кипит, сварим кофе, – объявил капрал. – У нас есть сыр и хлеб, настоящий праздник!

Вдруг на земле у своих ног он заметил гуся и не мог удержаться от смеха. С видом знатока он ощупал птицу и пришел в восхищение:

– Эх, черт подери! Хороша животина! Весит фунтов двадцать!

– Эту птицу мы встретили, – пошучивая, объяснил Лубе, – и она пожелала с нами познакомиться.

Жан поднял руку в знак того, что не требует дальнейших объяснений. Надо ведь жить. Да и зачем – ей-богу! – отказывать в таком угощении бедным парням, забывшим вкус птицы? Лубе уже разводил огонь. Паш и Лапуль быстро ощипывали гуся. Шуто побежал к артиллеристам за бечевкой, вернулся и повесил гуся между двумя штыками над огнем; Морису поручили время от времени переворачивать птицу щелчками. Вниз, в котелок, стекал жир. Никогда еще гусь на бечевке не поджаривался так хорошо! Привлеченный приятным запахом, сюда сбегался весь полк. Ну и угощение! Жареный гусь, вареная картошка, хлеб, сыр! Наконец Жан разрезал гуся, и солдаты его отделения принялись уплетать за обе щеки. О порциях никто уже не думал: каждый ел сколько влезет. Один кусок даже отнесли артиллеристам, которые дали бечевку.

Офицеры в тот день голодали. По ошибке возницы фургона маркитанта, наверно, заблудился, следуя за большим обозом. Если солдаты страдали в те дни, когда не получали довольствия, они в конце концов находили хоть какую-нибудь пищу, выручали друг друга и в каждом отделении ели в складчину, а одинокие офицеры, предоставленные самим себе, чуть не подышали с голоду и не могли ничего предпринять, когда не приезжал маркитант.

Шуто услышал, как капитан Бодуэн возмущается исчезновением продовольственного фургона, и захихикал, уткнувшись в кусок гуся, когда капитан, гордо выпрямившись, прошел мимо. Подмигнув товарищам, Шуто сказал:

– Поглядите-ка! У него дергается кончик носа... Он дал бы сто су за гузку!

Все стали смеяться над голодным капитаном; он не сумел заслужить любовь солдат – слишком был молод и слишком суров; его прозвали «хлопушкой». Минуту казалось, что он хочет объявить отделению выговор за учиненный скандал, за гуся. Но из опасения обнаружить свой голод он удалился, подняв голову, как будто ничего не заметил.

Лейтенанта Роша тоже донимал нестерпимый голод; добродушно посмеиваясь, он вертелся вокруг счастливого отделения. Солдаты его обожали уже за то, что он терпеть не мог капитана, «этого шалопая из Сен-Сирской школы», и еще за то, что он, как и все они, когда-то тянул солдатскую лямку. Конечно, с ним не всегда было легко поладить: он был так груб, что иной раз хотелось надавать ему оплеух.

Жан украдкой взглянул на товарищей, молча спрашивая согласия, встал, отвел лейтенанта за палатку и сказал:

– Господин лейтенант, может быть, желаете?

И вручил ему краюху хлеба с гусиной ножкой и несколько крупных картофелин в котелке.

В ту ночь отделение не нуждалось в колыбельных песнях. Все шестеро переваривали гуся и храпели вовсю. Они должны были быть благодарны капралу за то, что он так прочно поставил палатку: они даже ничего не почувствовали, когда в два часа поднялся бешеный ветер и полил дождь; многие палатки снесло; люди внезапно проснулись и вскочили, вымокшие до нитки, и заматались в полном мраке, а палатка отделения, которым командовал Жан, устояла; солдаты были хорошо укрыты от дождя, на них не упало ни капли воды: она стекала по канавкам.

Морис проснулся на рассвете и, так как выступать надо было только в восемь часов, решил подняться на холм, туда, где расположилась резервная артиллерия, повидать своего двоюродного брата Оноре. За ночь он отдохнул, и боль в ноге утихла.

Он опять пришел в восхищение от прекрасно оборудованного артиллерийского парка: шесть орудий батареи были установлены в ряд, за ними зарядные ящики, обозные повозки, повозки для фуража, кузницы. Дальше стояли привязанные кони; они ржали, раздув ноздри, задирая морды к восходящему солнцу. Морис быстро нашел палатку Оноре благодаря образцовому порядку, по которому всем солдатам, состоящим при одном и том же орудии, полагается определенный род палаток, так что по виду лагеря можно узнать число пушек.

Когда Морис пришел, артиллеристы уже встали и пили кофе; ездовой Адольф и его товарищ, наводчик Луи, ссорились. Уже три года назад их соединили, по обычаю, как ездового и канонира, и они жили дружно, но только не во время еды. Луи был образованней Адольфа и очень умен; он мирился с той зависимостью, в которой конный держит пешего, – разбивал палатку, ходил за водой, варил суп, тогда как Адольф, ухаживая за лошадьми, держал себя с видом неоспоримого превосходства. Но Луи, черный и худой, отличался чрезмерным аппетитом и сердился, когда Адольф, крупный парень со светлыми усами, хотел получить львиную долю. В то утро Луи, приготовив кофе, обвинил Адольфа в том, что тот выпил все один. Поэтому они и поссорились. Пришлось их мирить.

Каждый день с раннего утра Оноре уже шел к своей пушке, заставлял солдата вытирать с нее ночную росу соломой, как обтирают любимую лошадь, чтобы предохранить от простуды.

Он отеческим взглядом смотрел, как орудие блестит под ясным заревым небом; вдруг он увидел Мориса.

– А-а! Я узнал, что ваш полк здесь, по соседству, вчера я получил письмо из Ремильи и хотел сходить к тебе... Пойдем-ка выпьем белого вина.

Чтобы остаться наедине, он увел Мориса на маленькую ферму, которую солдаты разграбили накануне; там неисправимый крестьянин, падкий до барыша, просверлил бочонок белого вина и устроил нечто вроде ларька; у двери, на доске, он отпускал вино, по четыре су за стакан; ему помогал парень, которого он нанял три дня тому назад, белокурый великан-эльзасец.

Оноре уже чокнулся с Морисом, как вдруг случайно взглянул на этого человека. Минуту он всматривался, остолбенев. Вдруг он яростно выругался:

– А, черт возьми! Голиаф!

Он бросился на эльзасца, пытаясь схватить его за горло. Но хозяин вообразил, что его дом снова хотят разграбить, отпрянул и забаррикадировался. Произошла свалка, все солдаты ринулись вперед; Оноре, задыхаясь, бешено закричал:

– Да открой, открой, проклятая скотина!.. Это шпион, говорят тебе, это шпион!

Теперь Морис больше не сомневался. Он отлично узнал человека, которого, за отсутствием улики, выпустили из лагеря под Мюлузом: это был Голиаф, бывший батрак на ферме старика Фушара в Ремильи. Когда крестьянин, продававший вино, согласился наконец открыть дверь – сколько ни искали повсюду эльзасца, его и след простыл; этого самого, белокурого, на

вид добродушного великана генерал Бурген-Дефейль тщетно допрашивал накануне, а сам за обедом выболтал перед ним все с невероятной беспечностью. Наверно, этот молодец выскочил в заднее окно: оно осталось открытым; напрасно искали его в окрестностях, детина исчез, как дым.

Морису пришлось отвести артиллериста в сторонку: отчаяние Оноре обнаружило бы слишком многое; а солдатам не к чему было знать о его печальных семейных делах.

– Разрази его гром! Так бы и задушил мерзавца!.. Я получил письмо и еще больше обозлился.

Они сели в нескольких шагах от фермы, у стога, и Оноре дал Морису прочесть письмо.

Это была обычная история – несчастная любовь Оноре Фушара и Сильвины Моранж. Черноволосая девушка Сильвина с прекрасными покорными глазами очень рано потеряла мать, работницу, служившую на заводе в Рокуре, которую кто-то соблазнил; и доктор Далишан, случайный крестный отец девочки, добряк, всегда готовый усыновить детей несчастных женщин, у которых он принимал, решил устроить Сильвину служанкой у старика Фушара; конечно, старый крестьянин, ставший ради наживы мясником и развозивший мясо по двадцати окрестным коммуна, чудовищно скуп, неумолимо черств, но он станет присматривать за девочкой, и, если она приучится работать, ей будет хорошо. Во всяком случае, это ее спасет от заводского разврата. Само собой, сын старика Фушара и молоденькая служанка полюбили друг друга. Оноре было тогда шестнадцать лет, Сильвине – двенадцать, а когда ей исполнилось шестнадцать, а ему было двадцать, он вытянул счастливый жребий, очень обрадовался и решил жениться на Сильвине. Благодаря редкой честности, свойственной рассудительному и спокойному парню, между ними ничего не произошло; они только страстно целовались на гумне. Но когда Оноре заговорил с отцом о женитьбе, старик вышел из себя, отказал наотрез и объявил, что сыну сначала придется его убить; он оставил девушку в своем доме, надеясь, что они поладят без брака и все это пройдет. Еще года полтора Оноре и Сильвина любили, желали друг друга; но и только. Однажды, после крупной ссоры с отцом, сын решил уйти из дому, поступил добровольцем в армию, был послан в Африку, а старик упрямо удерживал у себя служанку, которой был доволен. Тогда-то и произошла трагическая история. Сильвина поклялась Оноре ждать его, и вот, через две недели после его отъезда, она очутилась в объятиях батрака, поступившего к Фушару за несколько месяцев до того, – Голиафа Штейнберга, по прозвищу Прусак.

Это был добродушный, всегда улыбающийся детина с коротко подстриженными светлыми волосами, с широким розовым лицом, товарищ и наперсник Оноре. Подзадорил ли его исподтишка на эту проделку лукавый старик Фушар? Отдалась ли Сильвина бессознательно, или Голиаф ее чуть ли не изнасиловал, когда она едва не заболела от горя, ослабев от слез после разлуки с Оноре? Словно пораженная громом, она сама этого не знала. Девушка забеременела и думала, что теперь ей придется выйти замуж за Голиафа. А он, как всегда улыбаясь, не отказывался от брака, только откладывал выполнение формальностей до рождения ребенка. Незадолго до родов Сильвины Голиаф внезапно исчез. Впоследствии говорили, что он поступил батраком на другую ферму, близ Бомона. С тех пор прошло три года, и теперь никто больше не сомневался, что добряк Голиаф, который так охотно награждал детьми французских девушек, был одним из тех шпионов, которыми Пруссия наводнила наши восточные провинции. Оноре, узнав в Африке об этой истории, пролежал три месяца в госпитале, словно после удара, причиненного жгучим, как пылающая головня, африканским солнцем; с тех пор он никогда не пользовался отпуском и не ездил на родину, боясь увидеть Сильвину и ее ребенка.

Пока Морис читал письмо, у Оноре дрожали руки. Письмо было от Сильвины, ее первое, единственное письмо к нему. Какому чувству подчинилась эта покорная, молчаливая женщина, чьи прекрасные черные глаза иногда глядели пристально и с необычайной решимостью, вопреки ее вечному рабству? Она писала только одно: она знает – он на войне, и, если ей не

доведется увидеться с ним, ей будет слишком больно при мысли, что он может умереть, думая, что она его больше не любит. Нет, она любит его по-прежнему и всегда любила только его одного, она повторяла это на четырех страницах на все лады, все в одних и тех же выражениях, не подыскивая себе оправданий, даже не стараясь объяснить то, что произошло. И ни слова о ребенке – только прощальный, бесконечно нежный привет.

Письмо очень тронуло Мориса, которому Оноре когда-то поверял свои любовные тайны. Морис поднял голову, заметил, что Оноре плачет, и братски его обнял:

– Бедняга!

Но Оноре уже преодолел свое волнение. Он бережно положил письмо обратно за пазуху и застегнул куртку.

– Да, от этого переворачивается сердце... Эх, бандит! Если бы я только мог его задушить!.. Ну, там видно будет.

Горнисты подали сигнал сняться с лагеря, и каждый побежал к своей палатке. Но приготовления почему-то затянулись, и солдаты, не снимая ранцев, ждали почти до девяти часов. Какая-то неуверенность овладела начальством; не осталось и следа от благородной решимости двух первых дней, когда 7-й корпус в два перехода проделал шестьдесят километров. С утра ряды обошло странное, тревожное известие: на север двинули три других армейских корпуса – 1-й в Жюнивилль, 5-й и 12-й в Ретель; нелепый приказ объясняли необходимостью запастись довольствием. Значит, они теперь направляются уже не к Вердену? Зачем же потеряли этот день? Хуже всего было то, что пруссаки теперь, наверно, недалеко: офицеры предупредили солдат, что нельзя отставать, потому что каждого отставшего может захватить в плен кавалерийская разведка неприятеля.

Происходило это 25 августа, и впоследствии Морис, вспоминая исчезновение Голиафа, убедился, что он-то и был в числе шпионов, уведомивших германский главный штаб о передвижении Шалонской армии, и это вызвало перемену фронта третьей немецкой армии. На следующий день прусский кронпринц уже оставил Ревиньи; началось передвижение пруссаков, фланговое наступление, гигантское окружение при помощи быстрых и проведенных в образцовом порядке переходов через Шампань и Арденны. Пока французы колебались и топтались на месте, словно их внезапно разбил паралич, пруссаки проделывали по сорок километров в день и, как загонщики, окружали и теснили стадо затравленных ими врагов к пограничным лесам.

Наконец французская армия двинулась в путь и в этот день действительно повернула влево; 7-й корпус прошел только две мили от Контрева до Вузье; 5-й и 12-й корпуса неподвижно стояли под Ретелем, а 1-й остановился в Аттиньи. Между Контревом и долиной Эны опять начались равнины, еще более оголенные; ближе к Вузье дорога извивалась среди серых пространств, скорбных холмов, – здесь, в унылой пустыне, не было ни дерева, ни дома. Даже это совсем короткое расстояние солдаты шли усталым, вялым шагом, и поэтому путь казался им бесконечным. Уже в двенадцать часов дня остановились на левом берегу Эны и расположились бивуаком среди голых холмов, последние отроги которых возвышались над долиной, откуда, простираясь вдоль реки, открывалась дорога на Монтюа; оттуда ждали неприятеля.

Морис с изумлением увидел на этой дороге дивизию Маргерита, резервную кавалерию, которой было поручено поддерживать 7-й корпус и вести разведку на левом фланге армии. Пронесся слух, будто она снова направляется к Шен-Попюле. Зачем обнажать таким образом единственный угрожаемый фланг? Зачем перебрасывать две тысячи кавалеристов в центр, где они никому не нужны, когда их надо послать в разведку за много миль отсюда? Хуже всего было то, что, попав в самую гущу передвижений 7-го корпуса, они чуть было не перерезали его колонны в непроходимой толчее людей, коней и пушек. У ворот Вузье африканским стрелкам пришлось ждать около двух часов.

Случайно Морис увидел Проспера, который подъехал на коне к болоту; им удалось немного поговорить. Проспер, казалось, растерялся, ошалел, ничего не знал, ничего не видел с самого Реймса; впрочем, нет, он видел двух немецких улан; эти молодцы появлялись, исчезали, и никто не знал, откуда они явились и куда направляются. Солдаты уже рассказывали целые истории, будто бы четыре улана с револьверами примчались в какой-то город, проскакали по улицам и захватили его всего лишь в двадцати километрах от своего корпуса. Уланы мелькали повсюду перед пехотными частями, жужжа как пчелы, служили подвижной завесой, за которой скрывались передвижения немецкой пехоты, шагавшей в полной безопасности, как в мирное время. И Морис с болью в сердце глядел на дорогу, загражденную французскими стрелками и гусарами, которых так плохо использовали.

– Ну, до свидания! – сказал он, пожимая руку Просперу. – Может быть, хоть там вы понадобитесь.

Но стрелок, по-видимому, был в отчаянии от этого вынужденного безделья. Он горестно погладил Зефира и сказал:

– Тьфу! Коней убивают, людям не дают ничего делать! Тошно!

Вечером Морис хотел снять башмак и осмотреть ступню, которая сильно воспалилась; при этом он содрал кожу. Хлынула кровь, он вскрикнул от боли. Жан услышал и с беспокойством сказал:

– Э-э, теперь это дело не шуточное, вам надо полежать, подлечиться. Дайте-ка я вам помогу!

Он стал на колени, сам обмыл язву, вынул из ранца чистую тряпку и перевязал ногу. В его движениях была материнская заботливость, ловкость опытного человека, и его толстые пальцы бережно касались больного места.

Непобедимое умиление охватило Мориса; его глаза затуманились слезами, и к губам подступило сердечное «ты»; это была огромная потребность в любви; словно он обрел брата в этом крестьянине, которого когда-то ненавидел и еще накануне презирал.



– Ты славный парень... Спасибо, дружище!

Жан обрадовался и, как всегда, спокойно улыбаясь, тоже ответил ему на «ты»:

– Знаешь, голубчик, у меня еще есть табак. Хочешь покурить?

V

На следующий день, двадцать шестого, Морис встал разбитый; после ночи, проведенной в палатке, ломило спину и плечи: он еще не привык спать на голой земле. Накануне солдатам запретили снимать башмаки, и сержанты обошли лагерь, ощупывая в темноте, все ли обуты и все ли в гетрах; у Мориса все еще ныла и воспалялась ступня; к тому же его, наверно, продуло: он имел неосторожность вытянуться, и ноги торчали из палатки.

Жан сейчас же сказал ему:

– Коли надо будет сегодня шагать, дружок, ты бы попросил врача, чтобы тебя посадили в повозку.

Никто ничего не знал, ходили самые противоречивые слухи. Сначала думали, что двинутся дальше, – снялись с лагеря, весь корпус тронулся в путь и прошел через Вузье, оставив на левом берегу Эны только одну бригаду 2-й дивизии, чтобы охранять дорогу на Монтуа. Но вдруг за городом, на правом берегу, остановились и составили пирамиды ружей в полях и на лугах, которые простираются по обеим сторонам дороги на Гран-Пре. По ней отправился рысью 4-й гусарский полк, и это вызвало новые толки.

– Если придется ждать здесь, я останусь в строю, – объявил Морис: ему претила мысль о враче и санитарной повозке.

Вскоре стало известно, что действительно корпус останется тут, пока генерал Дуэ не получит точных сведений о передвижении неприятеля. Со вчерашнего дня, увидя, что дивизия генерала Маргерита идет обратно в Шен, Дуэ все больше тревожился: он знал, что остался без всякого прикрытия, ни один человек больше не охраняет Аргонских проходов и можно с минуты на минуту подвергнуться нападению. Он послал в разведку 4-й гусарский полк до проходов Гран-Пре и Ла-Круа-о-Руа с приказом во что бы то ни стало доставить ему сведения.

Накануне, благодаря расторопности мэра Вузье, состоялась раздача хлеба, мяса и фуража, и около десяти часов утра, опасаясь, что потом уже будет поздно, солдатам разрешили сварить суп. Как вдруг по той же дороге, по какой выступили гусары, ушла бригада генерала Борда – и это опять вызвало всеобщие толки. Как? Неужели снова в путь? Неужели им не дадут спокойно поесть, теперь, когда котлы уже стоят на огне? Но офицеры объяснили, что бригаде Борда поручено занять Бюзанси, в нескольких километрах отсюда. Другие, правда, говорили, что гусары наткнулись на множество неприятельских эскадронов и бригаду послали на выручку.

Для Мориса наступил восхитительный час отдыха. Он улегся в поле на косогоре, где расположился полк; оцепенев от усталости, он смотрел на зеленую долину Эны, на луга, где между деревьев лениво протекала река. Перед ним, замыкая долину, высился амфитеатром Вузье, уступами громоздились кровли, а над ними стояла церковь с тонким шпилем, колокольной и куполом. Внизу, у моста, дымились высокие трубы кожевенных заводов, а на другом конце Вузье, среди прибрежной зелени, белели обсыпанные мукой строения большой мельницы. Окрестности городка, затерянного среди лугов, казалось, были полны тихого очарования, и Морис смотрел на них глазами чувствительного мечтателя. К нему возвращалась юность, воспоминания о давних поездках в Вузье в те годы, когда он жил в своем родном селении Шен. На целый час он забыл обо всем.

Солдаты уже давно съели похлебку и ждали, как вдруг в лагере возникло, все возрастая, глухое волнение. Передавался приказ: оставить луга. Солдаты поднялись на холмы, выстроились между деревнями Шетр и Фалез, отстоящими одна от другой на четыре-пять километров. Саперы принялись рыть окопы, воздвигать брустверы, а слева, на холме, располагалась резервная артиллерия. Пронесся слух, будто генерал Борда послал ординарца с сообщением, что в Гран-Пре он встретил превосходящие силы противника и вынужден отойти назад к Бюзанси,

а это вызвало тревогу, что путь к отступлению на Вузье будет скоро отрезан. Тогда командующий 7-м корпусом, ожидая немедленной атаки, приказал своим частям построиться в боевом порядке, чтобы сдержать первый удар, пока не придет на выручку остальная часть армии; один из его адъютантов отправился с письмом к маршалу, чтобы уведомить его о положении дел и попросить подмоги. Наконец, опасаясь помехи – бесконечного обоза с припасами, который присоединился к войскам ночью и опять тянулся за ними, – командующий велел ему немедленно двинуться дальше и направил его наудачу к Шаньи. Предстояло сражение.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.